



ИТАЛО КАЛЬВИНО

*ЕСЛИ ОДНАЖДЫ
ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ
ПУТНИК...*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Итало Кальвино

Если однажды зимней ночью путник...

Серия «Эксклюзивная классика (АСТ)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=127172

И. Кальвино. Если однажды зимней ночью путник...: «Иностранная литература»; Б.С.Г.-ПРЕСС; Москва; 2019

ISBN 978-5-17-113779-3

Аннотация

«Если однажды зимней ночью путник...» – это не просто роман, это десять историй, каждая со своим сюжетом, атмосферой и автором, и каждая заканчивается на самом интересном месте. Главные герои – Читатель и Читательница – пытаются прочитать эту книгу, оказываясь в литературном лабиринте. Кальвино играет с жанрами, идеями, героями, пространством и читателями. Изумительная проза, действительно оригинальная идея, сложная завораживающая структура...

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Глава первая | 5 |
| Если однажды зимней ночью путник | 14 |
| Глава вторая | 33 |
| Неподалеку от хутора Мальборк | 44 |
| Глава третья | 53 |
| Над крутым косогором склонившись | 70 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 85 |

Итало Кальвино

Если однажды зимней ночью путник...

Italo Calvino

Se Una Notte D'inverno un Viaggiatore

© The Estate of Italo Calvino, 2002

© Перевод. Г. Киселев, 2019

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

* * *

Даниеле Понкироли

Глава первая

Ты открываешь новый роман Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник». Расслабься. Соберись. Отгони посторонние мысли. Пусть окружающий мир растворится в неясной дымке. Дверь лучше всего закрыть: там вечно включен телевизор. Предупреди всех заранее: «Я не буду смотреть телевизор!» Если не слышат, скажи громче: «Я читаю! Меня не беспокоить!» В этом шуме могут и не услышать. Скажи еще громче, крикни: «Я начинаю читать новый роман Итало Кальвино!» А не хочешь – не говори: авось и так оставят в покое.

Устройся поудобнее: сидя, лежа, свернувшись калачиком, раскинувшись. На спине, на боку, на животе. В кресле, на диване, в качалке, в шезлонге, на пуфе. В гамаке, если есть гамак. На кровати. Разумеется, на кровати. Или в постели. Можно вниз головой, в позе йоги. Перевернув книгу, естественно.

Идеальной позы для чтения, ясное дело, не найти. Одно время читали стоя перед подставкой для книг. Привыкли стоять как вкопанные. Это считалось отдыхом после утомительной верховой езды. Никому еще не приходило в голову читать на скаку. Хотя мысль заняться чтением в седле, водрузив книгу на загривок или приладив ее к лошадиным ушам специальной упряжью, кажется тебе заманчивой.

А что, наверное, это удобно – читать, вдев ноги в стремяна. Хочешь сполна насладиться чтением – держи ноги на весу. Первейшая заповедь.

Ну вот, чего ты ждешь? Вытяни ноги, положи их на подушку, на две подушки, на спинку дивана, на подлокотник кресла, на чайный столик, на письменный стол, на пианино, на глобус. Но сначаланими тапочки. Если охота задрать ноги повыше. Если нет – надень тапочки. Только не сиди теперь с тапочками в одной руке и с книгой в другой.

Направь свет так, чтобы не уставали глаза. Желательно сделать это сразу, а то, когда начнешь читать, тебя уже не сдвинуть с места. Страница не должна оставаться в тени, иначе она превратится в крошево черных букв на сером поле, неразличимых, как стоя мышей. Да смотри, чтобы на нее не падал слишком яркий свет, он будет отражаться от нестерпимо белой бумаги, обгрызая оттененные кромки шрифта, словно в знойный южный полдень. В общем, заблаговременно позаботься обо всем, дабы не отвлекаться от чтения. Ты куришь? Сигареты и пепельница должны быть под рукой. Что еще? Надо пописать? Сообразишь – не маленький.

Не то чтобы ты ждал чего-то особенного, в особенности от этой книги. Ты уже из принципа ни от кого ничего не ждешь. Многие, кто помоложе, кто постарше тебя, пребывают в ожидании необыкновенного от книг, людей, путешествий, событий – словом, от всего того, что готовит нам день грядущий. Многие, но не ты. Ты прекрасно знаешь: лучше уже не будет,

не было бы хуже. К такому выводу ты пришел не только из собственного, но и всеобщего, чуть ли не всемирного опыта. А что же книги? Так вот, когда ты понял, что на лучшее рассчитывать нечего, ты решил ограничиться довольно узким миром книг. Может, хоть здесь получишь удовольствие. Как в молодости, когда вечно на что-то надеешься. Плохо ли, хорошо ли выйдет – неизвестно. А разочаруешься – невелика беда.

Из газет ты узнал о новой книге Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник». Автор уже несколько лет ничего не издавал. Ты пошел в книжный магазин и купил книгу. И правильно сделал.

Еще на витрине ты заметил нужную обложку. Зрительный след повел тебя вдоль плотных заслонов из Книг, Которых Ты Не Читал. Насупившись, они устрашающе поглядывали на пришельца с полок и прилавков. Но ты не должен поддаваться их внушению. Ты знаешь, что на книжных просторах десятки гектаров занимают Книги, Которые Можно И Не Читать; Книги, Написанные Для Чего Угодно, Только Не Для Чтения; Уже Прочитанные Книги, Которые Можно Было И Не Открывать, Поскольку Они Принадлежали К Категории Уже Прочитанного Еще До Того, Как Были Написаны. Ты одолел передовой пояс укреплений, и тут на тебя обрушиваются ударные силы пехоты, сформированные из Книг, Которые Ты Охотно Бы Прочел, Будь У Тебя Несколько Жизней, Но Жизнь, Увы, Всего Одна. Стремительным броском

ты обходишь их и попадаешь в самую гущу Книг, Которые Ты Намерен Прочесть, Но Прежде Должен Прочесть Другие Книги; Слишком Дорогих Книг, Покупать Которые Ты Подождешь, Пока Их Не Уценят Вдвое; Книг, Которые По Тем Же Причинам Ты купишь, Когда Они Выйдут В Карманных Изданиях; Книг, Которые Ты Мог Бы Взять У Кого-Нибудь На Время; Книг, Которые Читали Все, Поэтому Можно Считать, Что Ты Их Тоже Читал. Отразив эти наскоки, ты вплотную подступаешь к стенам крепости, где заняли оборону

Книги, Которые Ты Давно Уже Наметил Прочесть;
Книги, Которые Ты Безуспешно Искал Годами;
Книги О Том, Чем Ты Занимаешься В Данный Момент;
Книги, Которые Желательно Иметь Под Рукой На Всякий Случай;

Книги, Которые Ты Мог Бы Отложить, Скажем, До Лета;
Книги, Которых Недостает На Твоей Книжной Полке Рядом С Другими Книгами;

Книги, Неожиданно Вызывающие У Тебя Жгучий И Не Вполне Оправданный Интерес.

Ну вот тебе удалось поубивать воинственные полчища. Их все еще много, но они уже поддаются исчислению. Впрочем, относительное затишье нет-нет да и нарушается дерзкими вылазками. Засаду устроили Книги, Прочитанные Давным-Давно; Теперь Настало Время Их Перечитать. Вместе с ними окопались Другие Книги; Ты Постоянно Делал Вид, Будто Читал Эти Книги; Пришла Пора Действительно Их

Прочешь.

Ты резко сворачиваешь вправо, затем влево, уходишь от засады и с наскока врываешься в крепость Новинок, Автор Или Тематика Которых Тебя Привлекают. Внутри этой цитадели ты можешь пробить бреши в рядах защитников, разделив их на Новинки Неновых (для тебя или вообще) Авторов Или Тематик и Новинки Совершенно Незвестных (во всяком случае, для тебя) Авторов Или Тематик, и заодно определить, насколько они тебе интересны, исходя из твоих желаний, а также потребностей в новом и неновом (в новом, которое ты ищешь в неновом, и в неновом, которое ты ищешь в новом).

Словом, бегло взглянув на названия книг, выставленных в магазине, ты прямиком направляешься к стопке свежизданных «Если однажды зимней ночью путник», берешь один экземпляр и относишь его в кассу, чтобы установить на него твое право собственности.

Напоследок ты обводишь растерянным взглядом шеренги книг (вернее, это книги уставились на тебя в растерянности, как собаки, провожающие из клеток городского приемника своего бывшего товарища, которого уводит на поводке хозяин) и выходишь из магазина.

Есть особая прелесть в новой, только что изданной книге. Ты несешь с собой не просто книгу, но ее новизну, сравнимую хотя бы с новизной фабричного изделия. Недолговечная красота молодости свойственна и книгам. Она радует

взор, покуда ранней библиотечной осенью не начинается желтеть обложка, не покрывается пепельным налетом обрез, не обтрепываются уголки переплета. Нет, каждый раз ты чаешь натолкнуться на истинную новизну: пусть, оказавшись однажды новизной, она пребудет ею навсегда. Прочитав едва вышедшую книгу, ты завладеешь ее новизной с первого мгновения, и тебе не нужно будет гнаться за ней по пятам. Что, если это тот самый случай? Кто знает. Посмотрим, как она начинается.

Скорее всего, ты принялся листать книгу еще в магазине. Или не смог – помешал плотный целлофановый кокон? Сейчас ты зажат в автобусной давке – повис, ухватившись за поручень, свободной рукой пытаешься развернуть бумажную обертку, совсем как обезьяна, которая одной лапой очищает банан, а другой уцепилась за ветку. Осторожно, ты пихаешь локтями соседей! Хотя бы извинись.

А может, книгопродавец и не заворачивал книгу, а вручил ее в полиэтиленовом пакете? Это упрощает дело. Ты за рулем своей машины. Остановился у светофора, достаешь книгу из пакета,рываешь прозрачную упаковку, пробегаешь первые строки. На тебя накатывается шквал автомобильных гудков: загорелся зеленый свет, и ты застопорил движение.

Ты за своим рабочим столом. Книга как бы невзначай лежит среди деловых бумаг. Ты отодвигаешь одну из папок и прямо под носом обнаруживаешь книгу. С рассеянным видом ты открываешь ее, упираешься локтями в стол, стиски-

ваешь виски сжатыми в кулак ладонями. Можно подумать, что ты углубился в изучение какого-то документа, на самом деле ты поглощаешь первые страницы романа. Медленно ты откидываешься на спинку стула, приподнимаешь книгу на уровень носа, легонько заваливаешь стул на задние ножки, выдвигаешь боковой ящик стола, чтобы положить на него ноги – положение ног во время чтения имеет первостепенное значение, – вытягиваешь ноги на поверхности стола, придавив ими бумаги, и без того лежащие мертвым грузом.

Тебе не кажется, что ты ведешь себя пренебрежительно? Пренебрежительно, разумеется, не в отношении работы (никто не собирается обсуждать твои профессиональные качества: допустим, твоя деятельность органично вписывается в непроеизводственную сферу, составляющую весомую долю национальной и мировой экономики), а в отношении новой книги. Еще хуже, если ты принадлежишь – волей-неволей или вольной волей – к числу тех, для кого «работать» означает «работать всерьез», совершать – намеренно или без всякого умысла – нечто необходимое или по крайней мере небесполезное для других, а не только для себя. Тогда книга, которую ты принес на рабочее место в качестве такого амулета или талисмана, неумолимо искушает тебя, отвлекая на короткие мгновения от главного объекта твоего внимания – будь то электронный перфоратор, кухонные горелки, рычаги управления бульдозером или пациент, лежащий на операционном столе со вспоротым брюхом.

Короче, поумерь свой пыл. Придешь домой – там и раскроешь книгу. Вот сейчас – пожалуйста. Ты тихо-мирно сидишь у себя в комнате, открываешь книгу на первой странице, нет, на последней: сначала хочется посмотреть, не очень ли она длинная. К счастью, не очень. Сегодня длинные романы, наверное, лишены смысла. Понятие времени разлетелось на куски. Мы не в состоянии жить или думать иначе, как короткими временными отрезками, каждый из которых удаляется по собственной траектории и молниеносно исчезает. Непрерывность времени можно обрести разве что в романах той эпохи, где время уже не выглядело неподвижным, но еще не взорвалось, эпохи, продлившейся лет сто, не больше.

Ты вертишь книгу в руках, просматриваешь аннотацию на тыльной стороне суперобложки и на отгибе – общие, мало что говорящие фразы. Тем лучше: к чистому голосу книги не должны примешиваться посторонние голоса. Ты должен взять от книги свое без помех. Не важно, много или мало. Конечно, все это обхаживание книги, обчитывание книги, предваряющие собственно чтение, является частью удовольствия, получаемого от новой книги. Как всякое начальное удовольствие, оно длится ровно столько, сколько надо, если мы хотим, чтобы за ним последовало особое удовольствие от самого действия, то есть от чтения книги.

Итак, ты готов вкусить первые строки первой страницы. Ты приготовился распознать неповторимую манеру авторского письма. Не тут-то было. Ты совсем ее не узнаешь. Да и

кто вообще сказал, что у нашего автора неповторимая манера письма? Скорее известно, что от книги к книге он меняется почти до неузнаваемости. Именно благодаря такой изменчивости мы его и узнаем. Правда, на сей раз кажется, будто он не имеет ни малейшего отношения к написанному им ранее, во всяком случае к тому, что ты помнишь. Ты разочарован? Поживем – увидим. Поначалу ты слегка сбит с толку. Такое бывает: встретишь человека, которого представлял себе совсем иным, и никак не можешь совместить его облик со своим представлением. Но ты не останавливаешься. И чувствуешь, что книга все равно читается. Независимо от того, чего ты ждал от автора. Книга захватывает тебя сама по себе. Если разобраться, так даже лучше. Нежданно-негаданно ты обнаружил перед собой неизвестно что.

Если однажды зимней ночью путник

Роман начинается на вокзале. Пыхтит паровоз. Натужный выдох шатуна заполняет раскрытую главу. Клубы пара обволакивают краешек первого абзаца. К вокзальным запахам добавляется ароматное дыхание привокзального буфета. Кто-то смотрит сквозь мутные стекла, открывает застекленные двери бара. Внутри повисла легкая дымка. Все выглядит размыто, словно увиденное близорукими или воспаленными от угольной пыли глазами. Книжные страницы затуманились, подобно стеклам в старых поездах. Фразы окутало дымной пеленой. Дождливый вечер. Человек заходит в бар, расстегивает пальто. Его застигает облако пара. Свисток уносится по рельсам, лоснящимся дождевым глянцем.

Как паровоз, свистит и выдувает струи пара кофеварка. Пожилой бармен запускает ее, точно машинист, дергающий за ручку паровозного гудка. Таково первоначальное впечатление от очередности фраз второго абзаца, в котором сидящие за столами игроки прижимают к груди карточные веера и оборачиваются в сторону вошедшего тройным поворотом шеи, плеч и стульев, а посетители за стойкой дуют на кофейную гладь в приподнятых чашечках, полусомкнув губы и прищулив глаза, или отхлебывают пиво из довер-

ху наполненных кружек, преувеличенно осторожно стараясь его не пролить. Кошка выгибает спину, кассирша закрывает дзинькнувший кассовый аппарат. Перечисленные приметы единодушно свидетельствуют о том, что действие происходит на захолустном вокзальчике, где всякий вновь прибывший мгновенно привлекает к себе внимание.

Все вокзалы похожи друг на друга. И не важно, что фонари светят не дальше своих клочковатых островков. Тебе и так здесь знаком каждый уголок, насквозь пропитанный запахом поезда, источающий особый вокзальный дух, даже когда последний поезд уже ушел. Вокзальные фонари и фразы, которые ты читаешь, скорее скрадывают, чем выделяют предметы, увязшие во мгlistой поволоке темноты. Я сошел на этой станции впервые, а чудится, что провел тут целую жизнь – вечно торчал в этом сонном баре, переходил от запаха перрона к запаху мокрых опилок в сортире, перемешанных в едином запахе ожидания, запахе телефонных будок, когда остается лишь выудить назад заглотанные было жетоны, потому что набранный номер не подает признаков жизни.

Человек, расхаживающий между баром и телефонной будкой, – это я. Вернее, этот человек зовется «я», больше ты о нем ничего не знаешь. Точно так же, как и этот вокзал называется просто «вокзалом». За его пределами нет ничего, кроме безответного телефонного гудка, разносящегося в темной комнате далекого города. Я вешаю трубку, ожида-

юсь, когда по металлической горловине проскрежещет желтый поток, возвращаясь, толкаю застекленную дверь и направляюсь к холмику чашек, сохнувших в мохнатом паре.

Кофеварки в привокзальных буфетах всячески выказывают свое родство с локомотивом. Вчерашние и сегодняшние кофеварки – со вчерашними паровозами и сегодняшними электровозами. Все сную взад-вперед, места себе не нахожу. Я попал в ловушку, ту самую вневременную ловушку, что неизбежно расставляют нам вокзалы. Угольная пыль необъяснимо парит в воздухе вокзалов, хотя железные дороги давно электрифицированы. Роман, повествующий о поездах и вокзалах, не может обойти стороной этот дымный аромат. Ты уже прочел страницы две, и пора бы наконец выяснить, когда, собственно, я сошел на этой станции с опоздавшего поезда: давным-давно или в наше время. Но обтекаемые фразы продолжают неуловимое движение по ничейной территории, где внешние приметы сведены к минимальному общему знаменателю. Будь осторожен, здесь наверняка какой-то подвох. Ты и очухаться не успеешь, как тебя втянут в действие. Ловушка. Может, автор сам еще в нерешительности? Да и ты, читатель, до конца не понял, о чем тебе было бы приятнее читать – о приезде на старый вокзальчик, переносащий тебя назад, в утраченные время и место, или о слепящем свете и громогласных звуках, напоминающих, что ты живешь в наши дни, в угоду общепринятому мнению, будто жить в наши дни – сплошное удовольствие. Вполне воз-

можно, что таким размытым и затуманенным этот бар (или, как его еще называют, «привокзальный буфет») увидели мои близорукие и воспаленные глаза. На самом деле не исключено, что он залит ярким светом. Трубчатые лампы цвета молнии, отражаясь в зеркалах, озаряют все проходы и закутки. Пространство, лишённое тени, захлестывает грохочущая музыка, исторгаемая из дрожащей колонки «сокруши тишину». Мини-бильярды и прочие игровые автоматы, вроде лошадиных скачек или бегущей мишени, работают без передышки. Пестрые силуэты проплывают в прозрачной глубине телевизора и аквариума с тропическими рыбками, взбодренными вертикальными струйками пузырьков воздуха. В руке у меня не пухлый, потрепанный портфель, а твердый пластиковый чемодан квадратной формы. На колесиках и со складной хромированной ручкой.

Ты полагал, читатель, что там, на перроне, мой взгляд уперся в ажурные, как алебарды, стрелки круглого циферблата, напрасно силясь повернуть их назад и пройти вспять по кладбищу истекших часов, бездыханно распластавшихся в своем сферическом пантеоне. С чего ты взял, что цифры, обозначающие часы и минуты, не возникают, скажем, из прямоугольных окошек и я не вижу, как каждая минута срывается на меня, точно нож гильотины? Впрочем, невелика разница: двигаясь в гладком, текучем мире, моя рука, сжимающая послушный штурвал чемодана на колесиках, все равно выражала бы внутреннее несогласие, как будто непри-

тяжательный с виду чемодан тяготеет надо мной неблагоприятным, изнурительным грузом.

Похоже, что-то у меня не заладилось. Может, неправильно рассчитал время, или опоздал, или не успел пересестись на другой поезд. По приезде я должен был с кем-то встретиться. Вероятно, по поводу этого чемодана. Нет, он явно действует мне на нервы. Никак не пойму, то ли я боюсь его потерять, то ли не чаю от него избавиться. Ясно одно: это не тот чемодан, который можно сдать в камеру хранения или забыть в зале ожидания. Бесполезно смотреть на часы: если кто меня и ждал, его давно уже нет. Бесполезно кипятиться: как ни старайся обратить вспять бег времени и дней в надежде вернуться к моменту, предшествующему другому моменту, когда случилось то, что не должно было случиться, – ничего не выйдет. Если на вокзале у меня была назначена встреча с человеком, который, очевидно, не имеет к нему никакого отношения, а только должен пересестись с поезда на поезд, так же, как и я, и один из нас должен что-то передать другому, к примеру, я должен вручить ему чемодан на колесиках, оставшийся вместо этого у меня и обжигающий теперь руку, то единственное, что можно сделать, это попытаться восстановить утерянную связь.

Раза два я пересекал бар и выглядывал за дверь на невидимую площадь. Всякий раз стена темноты отбрасывала меня назад, в этот сияющий лимб, зависший между сумрачным пучком рельсов и потемками туманного города. Может, надо

куда-то пойти? Куда? У подступившего к вокзальчику города нет даже названия. Мы не знаем, останется ли он за гранью романа или целиком вберет его в свою чернильную черноту. Я знаю лишь, что первая глава не спешит расстаться с вокзалом и баром. Было бы опрометчиво удаляться от места, где меня еще могут искать, да и мозолить глаза этим громоздким чемоданом тоже ни к чему. Снова набиваю жетонами телефонную утробу, и снова она выплевывает их обратно. Жетонов много, вероятно, я звоню в другой город. Кто знает, где сейчас те, от кого я должен получить инструкции или, проще говоря, приказы. Ясно, что я от кого-то завишу. Я никак не похож на частного предпринимателя или человека, который едет по своим делам. Скорее я смахиваю на рядового исполнителя, ничтожную пешку в сложнейшей партии, маленькую шестеренку в огромном механизме, настолько маленькую, что ей не пристало даже высываться. И впрямь было условлено, что я не оставлю после себя ни единого следа. Однако каждую минуту моего пребывания здесь я оставляю следы. Я оставляю следы, когда ни с кем не говорю, а значит, произвожу впечатление замкнутого, скрытного человека. Я оставляю следы, когда с кем-то говорю, поскольку всякое произнесенное мною слово западает в чью-либо память и впоследствии может легко всплыть. В кавычках или без. Видно, поэтому автор и нагромождает бесконечные предположения, теснящиеся в длинных абзацах без диалогов и образующие непроницаемо-плотную, свинцовую толщу, в ко-

торой я могу проскользнуть незамеченным, раствориться.

Я нисколько не бросаюсь в глаза. Мое безликое присутствие совершенно неприметно на еще более неприметном фоне. И если ты, читатель, все же сумел разглядеть меня среди пассажиров, сходявших с поезда, и следил за моими дальнейшими передвижениями между баром и телефонной будкой, то единственно потому, что меня зовут «я», и это все, что ты обо мне знаешь, но этого вполне достаточно, чтобы тебе захотелось вложить часть самого себя в это незнакомое «я». Так же и автор, он вовсе не собирался говорить о себе и решил назвать своего героя «я», чтобы не выставлять его на показ, не описывать и не давать ему имя, ибо любое наименование или определение обозначило бы его гораздо полнее, чем это оголенное местоимение. Тем не менее, написав «я», он испытывает желание вложить в это «я» частицу себя, того, что он чувствует или воображает, что чувствует. Нет ничего проще, чем слиться со мной. Пока я веду себя как пассажир, не успевший пересест на другой поезд, а такое случается со всяким. Начало романа неизменно относит нас к чему-то, что уже произошло или скоро произойдет. Именно это что-то и таит в себе опасность слияния со мной. Как для тебя – читателя, так и для него – автора. И чем обыденнее, обобщеннее, зауряднее и неопределеннее завязка романа, тем явственнее ты и автор чувствуете зловещую тень, нависшую над тем «я», которое вы неосмотрительно вложили в «я» героя. Не подозревая, что за ним тянется, – вроде того

чемодана, от которого он мечтает поскорее избавиться.

Главное – избавиться от чемодана. Тогда я смогу восстановить предшествующие обстоятельства. Предшествующие всему тому, что произошло впоследствии. Это-то я и имею в виду, когда говорю, что хотел бы повернуть назад течение времени, уничтожить последствия некоторых событий и восстановить первоначальные обстоятельства. Но с каждой минутой в моей жизни накапливаются все новые и новые обстоятельства; и каждое из этих новых обстоятельств влечет за собой новые последствия, и потому чем настойчивее я пытаюсь вернуться к отправной точке, тем дальше я от нее удаляюсь. Все мои действия направлены на то, чтобы уничтожить последствия предшествующих действий. Порой результаты подобного уничтожения весьма ощутимы. Они приносят мне облегчение и надежду. Но я должен помнить, что любая моя попытка уничтожить последствия предшествующих событий ведет к целому потоку новых событий, которые только осложняют мое положение. Теперь придется уничтожать и их в свою очередь. Вот почему я обязан тщательно рассчитать каждый свой шаг, чтобы уничтожить как можно больше нежелательных последствий и не дать им вылиться в последствия этого уничтожения.

На перроне меня должен был встретить незнакомый мне человек. Должен был. Если бы все не пошло вкривь и вкось. Человек с таким же, как у меня, чемоданом на колесиках. Пустым чемоданом. Оба чемодана сошлись бы в сутолоке

пассажиров между поездами. Будто нечаянно, будто случайно — со стороны и не отличишь. Тот человек произнес бы пароль, взглянув на газету, торчащую из твоего кармана. В заголовке сообщалось бы о результатах последних бегов: «Ага, первым пришел Весельчак!» Тем временем мы бы уже сдвинули с места наши чемоданы, непринужденно маневрируя металлическими ручками. Попутно обменялись бы репликами по поводу лошадей, прогнозов и ставок и разошлись бы по своим поездам, покотив чемоданы в нужном направлении. Никто бы ничего не заметил. У меня был бы другой чемодан, а мой увез бы с собою он.

Безупречный план. Настолько безупречный, что рухнул из-за пустячного просчета. Я застрял здесь и не представляю, как быть дальше. Кроме меня, пассажиров на станции нет. До утра поездов больше не будет. В этот час провинциальный городок прячется в свою скорлупу. В привокзальном буфете засиделись только местные. Все эти люди прекрасно знают друг друга. Они никак не связаны с вокзалом, но все равно стекаются сюда через темную площадь. Наверное, другие заведения поблизости уже закрыты. Вокзалы провинциальных городов по-прежнему оказывают на нас притягательное воздействие. Мы постоянно ждем от них чего-то нового. А может, это просто воспоминание о времени, когда вокзалы были единственной точкой соприкосновения с внешним миром.

Что бы я ни говорил, а провинциальных городов больше

нет. Вполне возможно, их никогда и не было. Все города сообщаются между собой мгновенно. Чувство обособленности возникает разве что во время переездов из одного города в другой, то есть тогда, когда нас нет ни в одном городе. Вот и я сейчас – ни тут ни там. Свои видят во мне чужака, хотя бы потому, что я вижу в них своих и завидую им. Да, завидую. Я наблюдаю извне за течением обычного вечера в обычном городке и сознаю, что отрезан от обычных вечеров... Бог знает на какое время. Я размышляю о сотнях городов вроде этого, о сотнях тысяч залитых светом ресторанчиков и кафе, где в этот час люди наблюдают, как сгущаются сумерки, и думать не думают, о чем раздумываю я. Вероятно, они думают о чем-то своем, чему, пожалуй, и не позавидуешь, но в эту минуту я с готовностью поменялся бы мыслями с любым из них. Например, с одним из этих парней, что обходят владельцев мелких заведений, собирая подписи под петицией в городскую управу о налогах на неоновые вывески. В данный момент они зачитывают ее бармену.

Здесь в романе приводятся отрывки из разговоров, похоже, с единственной целью представить картину повседневной жизни провинциального городка.

– А ты, Армида, уже поставила свою подпись? – спрашивают у женщины, которую я вижу только со спины: длинное пальто, отороченное мехом, свисающий хлястик, высокий воротник, струйка дыма поднимается от пальцев, обвиваясь вокруг ножки бокала.

– А кто вам сказал, что я буду вешать на моем магазине неоновую вывеску? – отзывается она. – Если отцы города решили сэкономить на фонарях, то я не собираюсь освещать улицы за свой счет! Кожгалантерею Армиды знают все. Мое дело маленькое: опущу ставню – а там хоть и не рассветай.

– Вот поэтому ты и должна подписать, – убеждают ее.

К ней обращаются на «ты». Тут все обращаются друг к другу на «ты» и часто переходят на местное наречие. Эти люди привыкли видеться каждый день много лет подряд. Все, о чем они говорят, – лишь продолжение старых разговоров. Иногда они отпускают шуточки, не на шутку колкие. «Да чего уж, скажи прямо: в темноте-то оно куда сподручнее гостей принимать! Кто там к тебе навевается с черного хода, когда ты закрываешь лавочку?»

Реплики сливаются в гомон неразличимых голосов. Время от времени сквозь него прорываются слова или фразы, определяющие дальнейший ход событий. Для полноты чтения тебе следует подмечать и гомон, и скрытый смысл, который ты (да и я тоже) пока не в состоянии уловить. Читая, ты должен отрешиться и одновременно сосредоточиться. Точь-в-точь как я сейчас сижу с отсутствующим видом, облокотившись о стойку бара и подперев ладонью щеку, а сам напрягаю слух. Роман понемногу начинает выбираться из туманной неопределенности, намечая внешние черты персонажей. Он навеивает такое чувство, будто лица, которые ты видишь впервые, вместе с тем до боли тебе знакомы. В этом

городке встречаются одни и те же люди. На их лицах отпечаталась тяжесть привычности, передающаяся даже тем, кто, как и я, никогда здесь не бывал, но понимает, что именно эти лица и черты многократно сгущались и таяли в зеркалах бара, эти выражения из вечера в вечер раздувались и обмякали в них. Вот и эта женщина: когда-то она, верно, слыла первой красавицей в городе, да и поныне, на мой сторонний взгляд, не утратила былой привлекательности, но, если взглянуть на нее глазами завсегдатаев бара, она мгновенно покроется налетом усталости – пусть это будет всего лишь тенью их усталости (или моей усталости, или твоей). Они помнят ее еще девочкой, знают про нее всю подноготную, не исключено, что у кого-то из них был с ней роман: что было, то было, дело прошлое. Возникает некая пелена других образов, заволакивающая ее образ, оттого ускользающий и размытый. Груз воспоминаний мешает увидеть ее так, как видишь незнакомого человека. Это чужие воспоминания, повисшие в воздухе, словно густой дым, клубящийся под лампами.

Излюбленным развлечением завсегдатаев бара, похоже, являются всякого рода пари. По малейшему поводу. К примеру, один говорит: «Спорим, кто сегодня придет первым: доктор Марнэ или комиссар Горэн?» А ему в ответ: «Спорим, что сделает сначала доктор Марнэ, чтобы избежать встречи со своей бывшей женой: встанет за мини-бильярд или начнет заполнять карточку спортлото?»

В такой жизни, как моя, особо далеко и не загадаешь. Я не

могу сказать, что случится в следующие полчаса, как не могу представить жизнь, где четко обозначен выбор (на который еще и заключаются пари) или – или.

– Не могу, – роняю я тихо.

– Чего не могу? – спрашивает она.

Кажется, этой мыслью можно и поделиться, а не держать ее при себе, как все свои мысли, поделиться с женщиной, сидящей рядом со мной за стойкой бара, той самой женщиной, у которой кожгалантерейная лавка, ведь мне давно уже хочется завязать с ней разговор.

– У вас всегда так?

– Вовсе нет, – отвечает она.

Я знал, что она так ответит. Она утверждает, что здесь, как и везде, ничего невозможно предугадать. Да, в это время доктор Марнэ обычно закрывает амбулаторию, а комиссар Горэн заканчивает дежурство в полицейском участке. Оба они неизменно заглядывают в бар: сегодня первым приходит один, завтра другой. Ну и что из этого?

– Однако никто как будто не сомневается, что доктор будет избегать встречи с бывшей госпожой Марнэ, – вставляю я.

– Бывшая госпожа Марнэ – это я, – замечает она. – И не слушайте, что вам тут наболтают.

Твое читательское внимание полностью обращено к этой женщине. Уже несколько страниц ты ходишь вокруг нее. Я, нет, автор ходит вокруг этого женского персонажа. Уже

несколько страниц ты ждешь, что этот женский призрак воплотится в том виде, в каком женские призраки воплощаются на печатной странице. Именно твое читательское ожидание подталкивает к ней автора. Даже я, хоть моя голова и занята совсем другими мыслями, даже я не выдерживаю и вступаю с ней в разговор, который следовало бы поскорее прервать, а самому уйти, исчезнуть. Тебе, конечно, не терпится узнать, какая она, но печатная страница содержит лишь скупые штрихи, ее лицо по-прежнему застилает завеса дыма и волос, и нужно еще понять, что же скрывается за горькой усмешкой на ее губах, помимо горькой усмешки.

– А что тут болтают? – осведомляюсь я. – Я ничего такого не знаю. Мне только известно, что у вас магазин и на нем нет неоновой вывески. Я даже понятия не имею, где он находится.

Она объясняет. У нее магазин кожаных изделий, чемоданов и дорожных принадлежностей. Расположен он не на вокзальной площади, а на боковой улочке рядом с переездом у товарной станции.

– А почему вас это интересует?

– Окажись я здесь чуть раньше, обязательно прошелся бы по той темной улочке, увидел бы освещенные витрины магазина, зашел бы и сказал: «Если не возражаете, я помогу вам опустить жалюзи».

Жалюзи она уже опустила, но еще вернется в магазин составить инвентарную опись и задержится там допоздна.

Посетители обмениваются остротами и хлопают друг друга по плечу. Пари заключено: доктор на пороге бара.

– Надо же, комиссар сегодня что-то запаздывает.

Войдя, доктор приветствует всех взмахом руки: его взгляд не останавливается на жене, но наверняка отмечает, что она беседует с каким-то мужчиной. Доктор проходит в глубь заведения, повернувшись спиной к стойке бара, и опускает монетку в электрический бильярд. Ну вот, мало того, что я не сумел проскользнуть незамеченным, так меня еще и засекли, сфотографировали; от этих глаз мне точно не уйти, они раз и навсегда запомнят все, что относится к предмету ревности и боли их хозяина. При виде его тяжелых водянистых глаз становится ясно, что разразившаяся семейная буря еще не улеглась. Он заходит сюда каждый вечер, чтобы увидеть ее, разбедить старую рану, а заодно и узнать, кто провожает ее сегодня до дома. Она заходит сюда каждый вечер, чтобы помучить его, а может, надеясь, что мучение станет для него такой же привычкой, как и всякая другая, приобретет тот неразличимый привкус, что уже давно смешался у нее с привкусом жизни.

– Больше всего на свете мне хочется, – говорю я, ибо теперь, как ни крути, приходится продолжать разговор, – повернуть назад стрелки часов.

Женщина дает какой угодно ответ, например:

– Ну так в чем дело, возьмите и поверните.

– Да нет, я имел в виду, что мысленно, усилием воли хочу

заставить время обратиться вспять, — уточняю я, хотя не совсем понятно, сказал я это на самом деле или только соби-
рался сказать, или так истолковал мое бормотание автор. —
Когда я приехал сюда, то сразу подумал: неужели я совер-
шил такое мысленное усилие, что время вернулось назад, и
я очутился на том самом вокзале, с которого впервые уехал;
он остался в точности таким, как тогда. Отсюда начинаются
все жизни, которые я мог бы прожить; здесь та девушка, ко-
торая могла бы стать моей девушкой, но не стала ею; у нее
те же глаза, те же волосы.

Она игриво озирается по сторонам. Я киваю ей подбород-
ком. Она приподнимает уголки рта, обозначая улыбку, а за-
тем останавливается, видно, передумала (или она так улыба-
ется?).

— Не знаю, комплимент ли это, будем считать, что ком-
плимент. А дальше?

— А дальше я здесь. Я — сегодняшний. С этим вот чемо-
даном.

Я упоминаю о чемодане в первый раз, хотя не переставая
думал о нем.

Она:

— Прямо-таки день квадратных чемоданов на колесиках.

Я сижу с непроницаемым видом.

— Как это?

— Сегодня я продала именно такой чемодан.

— Кому же?

– Какому-то приезжему вроде вас. Он спешил на поезд. С новеньким пустым чемоданом. Как две капли воды похожим на ваш.

– А что в этом особенного? Разве вы не продаете чемоданы?

– Такие у меня давным-давно стоят, и никто не берет. Не нравятся. Или не нужны. А может, у нас про такие еще и не знают. Странно, должно быть, они удобные.

– Ну не скажите. Я как вспомню, что вынужден повсюду таскать за собой этот сундук, так весь вечер насмарку. Ни о чем другом и не думаю. Жаль, мог бы получиться прекрасный вечер.

– А почему бы вам его где-нибудь не оставить?

– Например, в магазинчике чемоданов.

– Хотя бы. Одним чемоданом больше, одним меньше.

Она встает с табурета, поправляет перед зеркалом воротник и пояс.

– Если я попозже заверну на вашу улочку и постучу в жалюзи, меня услышат?

– Попробуйте.

Женщина ни с кем не прощается. Она уже вышла на площадь.

Доктор Марнэ отходит от мини-бильярда и направляется к стойке бара. Он хочет заглянуть мне в лицо, угадать реакцию присутствующих, уловить намек или усмешку. Но сидящие за столиками заняты своим делом: они заключили па-

ри, пари на него; им и не важно, слышит он их или нет. Вокруг доктора Марнэ царит доверительное, радостное оживление: кто-то хлопает соседа по плечу, кто-то острит, кто-то подхватывает безобидную старую хохму. Потеха потехой, а допустимых границ не переходит никто. И не потому, что доктор Марнэ – врач, заведует санитарной службой города или чем-то в этом роде, а потому, что он просто хороший человек, потому, что он бедолага, несущий по жизни свои невзгоды и остающийся при этом хорошим человеком.

– Комиссар Горэн побил сегодня все рекорды по опозданию, – замечает чей-то голос, так как в этот момент комиссар входит в бар.

Входит.

– Привет честной компании! – Подойдя ко мне, комиссар опускает взгляд на чемодан, переводит его на газету и проговаривает сквозь зубы: – Весельчак. – Затем идет к сигаретному автомату.

Меня отдали на откуп полиции? На нашу организацию работает полицейский? Я тоже подхожу к автомату. Как бы за сигаретами.

– Жана убрали. Тебе надо уходить, – говорит он.

– А чемодан? – спрашиваю я.

– Заберешь с собой. Сейчас не до него. Сядешь на одиннадцатичасовой курьерский.

– Он же здесь не останавливается.

– Остановится. Пойдешь на шестой путь. Там, где товар-

ная платформа. У тебя три минуты.

– Но...

– Сматывайся, не то мне придется тебя арестовать.

Организация всесильна. Полиция и железная дорога у нее в руках. Я качу чемодан по переходам на шестой путь. Товарная платформа там, в конце, около переезда, за которым темнота и туман. Комиссар застыл на пороге бара и не спускает с меня глаз. Курьерский прибывает на всех парах. Он замедляет ход, останавливается, скрывает меня из поля зрения комиссара и снова отправляется.

Глава вторая

Ты прочел страниц тридцать и постепенно втягиваешься в сюжет. В какой-то момент ты отмечаешь про себя: «Однако эта фраза кажется мне знакомой. Да что фраза, по-моему, я уже читал весь абзац». Все ясно: это сквозная тема; текст сплошь соткан из повторов, призванных передать текучесть времени. Такой читатель, как ты, чутко улавливает подобные тонкости. Ты изначально готов воспринять авторский замысел, от тебя ничего не ускользнет. В то же время ты слегка раздосадован: именно сейчас, когда ты по-настоящему увлекся чтением, автор считает своим долгом щегольнуть новомодным литературным па – слово в слово повторить один из пассажей текста. Пассажей, говоришь? Так ведь тут целая страница, можешь сравнить – не переставлено ни запятой. А дальше что? Да ничего. Дальше следуют те самые страницы, которые ты уже прочел!

Погоди-погоди, проверь нумерацию страниц. Подумать только! Со страницы 32 ты перемахнул обратно на страницу 17! То, что ты принял за стилистическую изощренность автора, оказалось обычным типографским браком: они дважды сброшюровали одни и те же страницы. При брошюровании и произошла накладка: книга состоит из больших, шестнадцатиполосных листов: на каждом листе печатаются шестнадцать страниц, после чего лист складывают восемь

раз; когда листы брошюруются, в один экземпляр могут попасть две одинаковые тетради: такие сбои иногда случаются. Ты возбужденно листаешь книгу, пытаешься отыскать страницу 33, лишь бы она была; повтор двух тетрадей не такой уж непоправимый изъян, непоправимым он становится тогда, когда нужной тетради вообще нет; возможно, она попала в другой экземпляр, где дважды сброшюрована как раз та тетрадь и не хватает этой. Как бы то ни было, ты хочешь возобновить чтение, все остальное тебя уже не интересует; ты дошел до того момента, когда не можешь пропустить ни страницы.

Так, страница 31, 32... Но что это? Снова 17-я страница, в третий раз! Что за туфту тебе подсунули? Вся книга сброшюрована из одних и тех же тетрадей – от начала до конца.

Ты швыряешь книгу на пол; твоя воля – ты выбросил бы ее из окна, даже из закрытого окна, сквозь лезвия опущенных жалюзи; пусть они изрубят на мелкие кусочки эти несуразные шестнадцатиполосники; пусть фразы, слова, морфемы и фонемы разлетятся вокруг так, что их уже не собрать в связную речь; ты запустил бы книгу сквозь стекло, даже если оно небьющееся, тем лучше – ты размазал бы ее по стеклу, обратил бы в фотоны, волновые колебания, поляризованные спектры; ты метнул бы ее сквозь стену – пусть книга раскрошится на молекулы и атомы, проникая между атомами железобетона, дробясь на электроны, нейтроны, нейтрино, еще более мелкие элементарные частицы; загнал бы ее в теле-

фонные провода, превратив в электронные сигналы, в поток информации, сотрясаемой жужжащей, тренькающей дрожью и пропадающей в головокружительной энтропии. Тебя так и подмывает размахнуться и швырнуть книгу куда подальше: за пределы дома, двора, квартала, района, города, провинции, области, страны, общего рынка, западной цивилизации, континента, атмосферы, биосферы, стратосферы, гравитационного поля, Солнечной системы, галактики, скопления галактик; закинуть ее дальше той точки, до которой распространились галактики, туда, докуда не дошло еще пространство-время, где она ухнула бы в небытие, дальше небытия, не бывшего ни прежде, ни потом, – и утратилась бы в абсолютной, наивернейшей и неопровержимой отрицательности. Как она того и заслуживает, ни больше ни меньше.

Ан нет: ты подбираешь книгу, смахиваешь с нее пыль. Ты должен отнести ее книгопродавцу и обменять. Мы знаем, что по натуре ты человек вспыльчивый, но научился сдерживать свои порывы. Больше всего тебя раздражает, когда ты оказываешься во власти случая, жребия, лотереи; когда человеческие дела и поступки отдаются на откуп иронии судьбы, небрежности, приблизительности, неточности – твоей или чужой. В такие минуты ты горишь желанием зачеркнуть пагубные последствия необоснованных или рассеянных действий, восстановить нормальный ход событий. Тебе не терпится получить добротный экземпляр книги, в которую ты успел углубиться. Ты помчался бы в книжный магазин хоть

сейчас, если бы сейчас магазины не были закрыты. Придется подождать до завтра.

Ты проводишь беспокойную ночь. Мутный, прерывистый поток сна напоминает чтение романа. Все сны как будто повторяют все тот же сон. Ты борешься со снами, как борются с бессмысленной, бесформенной жизнью, стараясь найти указатель правильного пути, ведь он обязательно где-то есть. Так, начиная читать книгу, мы еще не знаем, в каком направлении она нас поведет. Вот если бы перед тобой вдруг открылись абсолютно абстрактные пространство и время, в которых ты мог бы двигаться по выверенной, настильной траектории, но стоит только поверить в это, как выясняется, что ты оторопело застыл на месте и надо все начинать заново.

Назавтра, выкроив свободную минуту, ты устремляешься в книжный магазин. Войдя, протягиваешь уже раскрытую книгу, уткнув палец в страницу, словно одного этого жеста достаточно, чтобы продемонстрировать свистопляску страниц:

– Слушайте, что вы мне всучили... Вы только посмотрите... На самом интересном месте...

Без тени смущения книгопродавец парирует:

– И с вами та же история? Мне уже возвратили несколько экземпляров. Как раз сегодня утром мы получили уведомление из издательства. Вот полюбуйтесь: «При распространении последних новинок нашего издательства выявлено наличие бракованных экземпляров в тираже романа Ита-

ло Кальвино “Если однажды зимней ночью путник”. Данную партию тиража надлежит изъять из обращения. Брак допущен в процессе брошюровочно-переплетных работ, вследствие чего печатные листы указанного издания перемешались с печатными листами другой нашей новинки – романа польского писателя Тазио Базакбала “Неподалеку от хутора Мальборк”. Издательство приносит искренние извинения за досадную оплошность и примет необходимые меры по скорейшей замене бракованных экземпляров». Ну и так далее. Сами посудите, в каком положении оказывается несчастный книгопродавец. И все по вине этих субчиков. Мы уже целый день на ушах стоим. Просмотрели всех Кальвино поштучно. Несколько книжек, слава богу, в порядке. Так что можем обменять вам бракованного старого «Путника» на исправного нового.

Стоп-стоп. Соберись с мыслями. Постарайся упорядочить это обилие информации, свалившейся на тебя как снег на голову. Роман польского писателя. Стало быть, книга, которую ты читал с таким рвением, совсем не то, что ты думал, а какой-то польский роман. Значит, его тебе и нужно заполучить. Не дай сбить себя с толку. Объясни все по порядку.

– Нет. Видите ли, мне до вашего Итало Кальвино нет теперь ни малейшего дела. Я начал польский роман и намерен его дочитать. Есть у вас этот Базакбал?

– Как вам будет угодно. Только что к нам зашла покупательница. Тот же случай, что и у вас. И она решила взять по-

ляка. На этом стеллаже целая стопка Базакбала. Да вот, вот, прямо перед вами. Выбирайте.

– Надеюсь, этот без изъяна?

– Знаете, руку на отсечение я, пожалуй, не дам. Когда солидные издательства откалывают подобные номера, ручаться уже ни за что нельзя. Я говорил тут девушке, скажу и вам. Если опять что-то будет не так, я готов вернуть деньги. Это все, что я могу для вас сделать.

Девушка, он упомянул о девушке. Той самой, что стоит сейчас у полок, заставленных книгами из серии «Классики современной литературы» издательства «Пингвин». Уверенно и аккуратно она проводит пальчиком по корешкам томов бледно-баклажанного цвета. Большие глаза, быстрый взгляд, приятный тон лица и кожи, пышные волнистые волосы.

Итак, в поле твоего зрения, Читатель, счастливым образом появляется Читательница. Даже не в поле зрения, а в поле внимания. Или нет: это ты попал в магнитное поле; от его притяжения тебе не уйти. Не теряй времени, у тебя прекрасный повод завязать знакомство – общие интересы. Для начала можешь козырнуть своей начитанностью. Чего ты медлишь? Вперед!

– Значит, и вы, ха-ха, предпочли поляка, – произносишь ты как можно более непринужденно. – Ну и книжонка: не успел начать – и на тебе, такая липа. Мне сказали, что вы... Вот и я остался с носом. Но, как говорится, взялся за гуж... Короче, я отказался от той и беру эту. Бывают же такие сов-

падения.

М-да, вообще-то мог бы и повразумительнее. Ну уж ладно, главное ты худо-бедно выразил. Теперь ее очередь.

Улыбается. У нее ямочки. Она нравится тебе все больше. Она:

– Ой, да, и мне хотелось прочесть стоящую книгу. Поначалу как-то не шло. Потом втянулась, стало интересно... А когда все оборвалось, я так разозлилась! И автора словно подменили. Недаром я чувствовала, что эта вещь совсем не похожа на его прежние вещи. Оказалось, это Базакбал. Занятный автор. Никогда раньше не читала.

– Я тоже, – можешь согласиться ты уверенно, уверяюще.

– Хотя, на мой вкус, повествование чересчур расплывчатое. Если поначалу я слегка теряюсь – это еще ничего. Но когда первое впечатление – сплошной туман, то, боюсь, после того как он рассеется, пропадет и всякое желание читать дальше.

Ты задумчиво качаешь головой:

– Пожалуй, верно. Такая опасность есть.

– Гораздо больше мне нравятся романы, – добавляет она, – которые сразу вводят тебя в мир, где все точно определено, обозначено, оговорено. Приятно сознавать, что все обстоит именно так, а не иначе; даже то, что на самом деле меня совершенно не волнует.

Ты согласен? Ну так выскажись.

– Еще бы, такие книги, конечно, стоят того.

Она:

– Не стану отрицать: этот роман по-своему привлекателен.

Ну же, ну, не дай разговору зачахнуть. Говори что попало, только не молчи.

– А вы... много читаете? В основном романы? Я тоже. Иногда. Правда, меня больше занимает публицистика...

И это все, на что ты способен? А дальше-то? Заглох? Ну, тогда прости-прощай. Неужели трудно спросить хотя бы: «А это вы читали? А вот это? А что вам больше понравилось?» То-то. Теперь разговоров на полчаса хватит.

Вся беда в том, что она читала намного больше тебя. Особенно зарубежных авторов. Вдобавок у нее поразительно цепкая память. Она ссылается на вполне конкретные эпизоды. К примеру:

– Помните, что говорит тетушка Генри, когда...

А ты-то брякнул это название, потому что оно у всех на слуху. Но кроме названия и знать ничего не знаешь об этой книге. Тебе доставляло удовольствие внушать окружающим, будто ты ее читал. Теперь приходится лепетать нечто уклончивое, вроде:

– На мой взгляд, сюжет затянут.

Или:

– Очаровательная вещь, в ней столько иронии.

Она возражает:

– В самом деле, вы находите? Я бы не сказала...

И ты чувствуешь, что сел в лужу. Ты запальчиво берешься

обсуждать известного автора, прочтя из него одну, от силы две вещи, а она не задумываясь перебирает полное собрание сочинений; похоже, она знает его назубок. Хуже, если у нее возникают какие-то сомнения и она спрашивает:

– Помните знаменитую сцену с порванной фотографией? Я вечно путаюсь, откуда она...

Ты ляпаешь что-то наобум: а ну как проскочит.

Она:

– Да что вы? Не может быть...

Теперь вы, кажется, запутались оба.

Уместнее перевести разговор на другую тему. Скажем, на твое вчерашнее чтение, тем более что у вас в руках книга, которая, по идее, должна сгладить недавнее разочарование.

– Будем надеяться, – говоришь ты, – что на сей раз экземпляр сброшюрован правильно и мы не прервемся на самом захватывающем месте, как обычно... – (Обычно? Как это понимать? Что ты несешь?) – Короче, будем надеяться, что с удовольствием дочитаем книгу до конца.

– О да, – отвечает она.

Слышал? Она сказала: «О да». Твой черед закинуть удочку.

– Надеюсь, мы еще увидимся, ведь вы тоже покупаете книги в этом магазине? Так что поделимся впечатлениями.

Она отвечает:

– Охотно.

Ясно, куда ты клонишь. Решил сплести тончайшую сеть.

– Самое смешное будет, если, открыв Базакбала, мы обнаружим, что читаем Кальвино, как, читая Кальвино, обнаружили, что читаем Базакбала.

– Нет уж, дудки! В таком случае мы подадим на издательство в суд!

– Послушайте, а почему бы нам не обменяться телефонами? – (Вот к чему ты вел, о Читатель, обвиняясь вокруг нее словно гремучая змея!) – Если один из нас наткнется в своем экземпляре на брак, он обратится за помощью к другому... Вместе у нас больше шансов составить цельную книгу.

Дело сделано. Что может быть естественнее полного согласия, достигнутого между Читателем и Читательницей посредством книги?

Ты можешь выйти из магазина в хорошем настроении. А ведь недавно думал, что время, когда от жизни еще чего-то ждешь, кончилось. Ты несешь с собой два разных предвкушения, и оба вселяют в тебя радостную надежду; одно связано с книгой: так и хочется поскорее возобновить чтение; другое – с номером телефона: вот бы снова услышать то резкое, то мягкое звучание этого голоса, когда она ответит на твой первый звонок, совсем скоро, уже завтра; не вполне убедительно сославшись на книгу, ты спросишь, нравится ей или нет, сообщишь, сколько страниц прочел или не прочел, предложишь встретиться...

Кто ты, Читатель, сколько тебе лет, женат ли ты, чем занимаешься, обеспечен ли – спрашивать тебя обо всем этом

было бы бестактно. Это твое личное дело, сам и разбирайся. Куда важнее сейчас то душевное состояние, в котором, уединившись в своей комнате, ты пытаешься восстановить идеальное спокойствие, чтобы вновь погрузиться в книгу. Ты вытягиваешь ноги, подбираешь их и опять вытягиваешь. Нет, со вчерашнего дня положительно что-то изменилось. Ты больше не одинок в твоём чтении, ты думаешь о Читательнице, открывающей книгу в эту же минуту; и вот уже на роман литературный накладывается жизненный роман, возможное продолжение твоих отношений с ней, точнее, начало возможных отношений. Смотри, как ты переменялся: ещё вчера ты убежденно предпочитал книгу – вещь основательную, осязаемую, четко определенную и безопасную – житейскому опыту, вечно ускользающему, бессвязному, противоречивому. Значит ли это, что книга стала одновременно инструментом, средством связи и местом встречи? Впрочем, от этого чтение захватывает тебя не меньше; сила его воздействия скорее возрастает.

В этой книге неразрезанные страницы – первая подножка твоему нетерпению. Достав испытанный разрезной нож, ты готов проникнуть в её тайны. Уверенным взмахом ты взрезаешь хрустящую перемычку между титульным листом и началом первой главы. И вот...

И вот с самой первой страницы ты обнаруживаешь, что этот роман не имеет ничего общего с тем романом, который ты читал вчера.

Неподалеку от хутора Мальборк

Пряный запах жаркого витает над раскрытой страницей; вернее, запах поджарки, чуть пригоревшей луковой поджарки; лук расходится кругами влажно-сизых прожилок; поначалу они отливают лиловым, затем окрашиваются коричневым; закраины тонко нарезанных ломтиков набухают густой чернотой, так и не успев подрумяниться, – это обугливается луковый сок, приобретая всевозможные обонятельные и цветковые оттенки, пропитанные ароматом закипающего масла. Рапсового масла, уточняется в тексте, где все выверено до мельчайших подробностей и ощущений, ими вызываемых; все кушанья одновременно стряпаются на очаге огромной поварни, каждое в особой, прилежно поименованной посудине – на сковородках и в сотейниках, в чугунах и котелках, – и надлежащим, расписанным по порядку способом: обвалять в муке, взбить яйцо, нашинковать огурец, заложить клинышки сала в утробу пулярки, приготовленной на жаркое. Все здесь представлено явственно, плотно, телесно, со знанием дела, во всяком случае, так тебе кажется, Читатель, хотя об иных яствах ты и слыхом не слыхивал: у каждого блюда свое диковинное название, настолько диковинное, что переводчик предпочел оставить их на исходном языке; например, *скобленица*: прочтя слово *скобленица*, ты готов ручаться, что *скобленица* существует на самом деле, ты даже

отчетливо чувствуешь ее привкус, несмотря на то что в тексте не сказано, каков он, — привкус с кислинкой, то ли потому, что самое слово передает этот вкусовой посул в звуковой оболочке или узорчатом написании, то ли потому, что в симфонии запахов, привкусов и слов явно недостает кислотной ноты.

Укладывая прокрученную мясную начинку в тесто, замешенное на желтке, крепкие красные руки Бригд, усеянные золотистыми веснушками, опушаются белой крапчатой пылью из муки и налипших кусочков сырого мяса. При каждом наклонном движении туловища Бригд над мраморным разделочным столом у нее слегка приподнимаются сзади юбки, заголяя ложбинку между икрой и бедром, где пробегает тонкая полоска голубой вены. Исподволь действующие лица обретают форму, по мере того как множатся обстоятельно описанные детали, отдельные жесты, а заодно и реплики, обрывки разговоров, когда, скажем, старик Гундер замечает: «От этого чай уже не поскачешь, как от прошлогоднего!» Через несколько строк до тебя доходит, что речь идет о красном перце. «Да ты сам, что ни год, скачешь хуже некуда!» — отвечает ему тетушка Угурд, зачерпывая деревянной ложкой из кипящего варева и добавляя в чугунок щепотку корицы.

Ты непрерывно открываешь для себя новых персонажей; почем знать, сколько их в нашей неоглядной поварне, пересчитывать бессмысленно: здесь, в Кудгиве, нас всегда было хоть отбавляй; одни уезжали, другие приезжали, со счета со-

бьешься; к тому же одного человека могут называть по-разному: то по имени, то по отчеству, то по фамилии, то по прозвищу, а то и просто окликнут: «Янкова вдовица» или «Кукурузный Початок» – когда как. Важнее внешние штрихи, намеченные в романе: обкусанные ногти Бронко, пушок на щеках Бригд, их телодвижения, предметы обихода, скарб, кухонная утварь (деревянная колотушка для отбивки мяса, дуршлаг для кресс-салата, маслобойка); жест или утварь дают первое представление о героях; мало того, о них хочется узнать поподробнее, словно маслобойка сама по себе определяет характер и судьбу того, кто предстает перед нами в первой главе с маслобойкой в руках; словно всякий раз, когда по ходу повествования возникает данный герой, ты, Читатель, готов воскликнуть: «А, да это тот самый, с маслобойкой!» – обязывая автора приписывать ему свойства и поступки, созвучные упомянутой вначале маслобойке.

Наша кудгивская поварня, казалось, нарочно была устроена так, чтобы в любое время на ней могли свободно поместиться сразу несколько человек, занятых всевозможной стряпней: кто лушил горох, кто фаршировал здоровенных карпов линьками и плотвой; каждый кухарил, жарил, парил, приправлял, пробовал, перекусывал, перехватывал; одни уходили, их сменяли другие, и так с утра до поздней ночи: когда тем утром я сошел в поварню, жизнь там кипела уже вовсю; и то сказать, день-то был особый: накануне приехал пан Каудерер с сыном, а наутро должен был уехать, забрав

вместо него меня. Я впервые покидал отчий дом: все лето мне предстояло провести в усадьбе пана Каудерера, в округе Пёткво, пока не уберут рожь; там я буду обучаться работе на новой бельгийской сушилке, а Понко, самый юный отпрыск Каудереров, проведет это время у нас, чтобы наостриться в подвое рябины.

Привычные звуки и запахи дома окружали меня в то утро, словно в прощальном хороводе; я оставлял все накопленное до сих пор, оставлял надолго – так мне казалось, – когда я вернусь, все будет по-другому, не как прежде, и сам я буду уже не тем, прежним мною. Поэтому в моем представлении я навсегда расставался с поварней, домом, клетками тетюшки Угурд; поэтому к ощущению предметности, которое ты уловил с первых строк, прибавляется ощущение потери, умопомрачительного распада; однако от такого пронизательного Читателя, как ты, не ускользнула и эта тонкость; еще на первых страницах, наслаждаясь выверенностью авторского слога, ты смекнул, что, по правде говоря, сюжет как бы просачивается у тебя сквозь пальцы; наверное, все дело в переводе, убеждал ты себя, хоть и точном, но все же не воспроизводящем предельной телесности оригинала, каким бы ни был оригинал. Каждая фраза хочет донести до тебя прочность моей привязанности к дому в Кудгиве и одновременно горечь расставания с ним; а кроме того – может, ты того еще не подметил, но, приглядевшись, обязательно увидишь, – неукротимое желание оторваться от него, устре-

миться к чему-то неведомому, перевернуть страницу, унести подальше от манящего кисловатого запаха скобленицы, к новой главе и новым встречам во время бесконечных закатов на Аагде, воскресных вечеров в Пёткво, праздничных гуляний во Дворце Сидра.

Фотография черноволосой девушки с короткой стрижкой и вытянутым лицом показалась на миг из дорожного сундука Понко и тут же нырнула обратно под дождевик. Мансарда над голубятней: до сих пор она была моей – отныне будет его. Понко доставал вещи и раскладывал их по ящикам гардероба, который я недавно освободил. Я молча смотрел на него, сидя на уже собранном сундуке и машинально загоняя внутрь согнувшуюся головку гвоздя. Мы не перемолвились ни словом, только поздоровались сквозь зубы. Я следил за каждым его движением, соображая, что же все-таки происходит: мое место занимает какой-то чужак; он становится мной; моя клетка со скворцами переходит к нему, мой стереоскоп, настоящий уланский шлем, висящий на стене – все, что я никак не мог взять с собой, остается ему; все, что связывает меня с вещами, людьми и здешними местами, принадлежит теперь ему, точно так же как я становлюсь им и занимаю его место среди окружавших его вещей и людей.

Девушка...

– Это кто такая? – спросил я и опрометчиво протянул руку к фотографии в резной деревянной рамке. Она была не похожа на местных девчонок, как на подбор круглоли-

дых, русоволосых и с косичками. Я подумал о Бригд; мне вдруг представилось, как Понко и Бригд танцуют на празднике Святого Фаддея, как Бригд штопает Понко варезки, как Понко дарит Бригд куницу, пойманную *моим* силком.

– Не трожь фотографию! – заорал Понко, вцепившись мне в руку железной хваткой. – Не лапай! Понял?!

«На память о Звиде Оцкарт» – успел я прочесть надпись на фотографии.

– Кто такая эта Звида Оцкарт? – только и вырвалось у меня: в лицо мне уже летел свирепый кулак, и сам я набросился на Понко, и мы катались по полу, выкручивая друг другу руки, лягаясь коленками и норовя посильнее заехать противнику по ребрам.

Здоровяк Понко наваливался на меня всем весом, больно молотил руками и ногами. Я пытался схватить его за волосы и сбросить, но рука только скользнула по жесткому, как собачья щетина, бобрику. Пока мы колошматили друг друга, мне почудилось, будто во время нашей потасовки произошло некое перевоплощение, и, когда мы поднимемся, он будет уже мною, а я – им; хотя вполне возможно, эта мысль пришла мне в голову лишь теперь, вернее, она пришла в голову тебе, Читатель, а не мне; ведь тогда, в пылу драки, я до последнего стоял за самого себя, за свое прошлое, лишь бы не уступить его сопернику; ради этого я готов был уничтожить мое прошлое, уничтожить Бригд, лишь бы она не попала в руки Понко; я и думать не думал, что могу влюбиться в

Бригд, как не думаю и теперь; правда, однажды, сцепившись, мы катались с ней по куче торфа в закутке у печи, прямо как сейчас с Понко; сдается, что уже тогда я оспаривал ее у воображаемого Понко; я оспаривал у него и Бригд, и Звиду; уже тогда я пытался вырвать часть моего прошлого и не отдавать его недругу, новоявленному двойнику, встопорщившемуся собачьим бобриком; а может, уже тогда я пытался выхватить из прежнего, неведомого самого себя тайну, призванную стать частью моего прошлого или будущего.

Эта страница должна донести до тебя стихию нашей яростной сшибки, глухих, чувствительных ударов, хлестких, безжалостных ответов, отчетливых движений собственного тела над телом чужака, точного распределения собственных сил при нападении и защите, соотнося эту стихию с отраженным изображением противника, посылаемым тебе словно из зеркала. Но если чувства, вызываемые чтением, окажутся лишь бледной копией реально прожитых чувств, то это еще и потому, что пока я надавливаю на грудь Понко собственной грудью или пока мне заламывают руку за спину, я испытываю вовсе не то чувство, которое позволило бы утвердиться в моем намерении овладеть Бригд, ощутить ее упругую девичью плоть, так не похожую на костистую крепость Понко; чтобы овладеть Звидой, ее воображаемо пылким и податливым телом, овладеть уже утраченной Бригд и еще не обретенной Звидой в ее бесплотном, застекленном отображении на фотографии. Напрасно я пытаюсь пробиться сквозь на-

громождение противостоящих мне и вместе тождественных мужских конечностей и стиснуть в объятиях ускользающие в их неумолимом отличии женские призраки; тщетно силюсь поразить самого себя, то есть другого себя, что скоро займет мое место в этом доме, возможно, еще более моего себя, которого я хочу вырвать у того, другого; я лишь чувствую, как меня вытесняет его чужеродное начало, словно он уже занял мое место и все остальные места, а я уже стерт с лица земли.

Чуждым показался мне мир, когда я наконец отбросил противника и вскочил на ноги. Чуждым было все: моя комната, собранные в укладку вещи, вид из моего оконца. Я боялся, что уже никто и ничто не будет таким, как раньше. Мне захотелось найти Бригд, но я не знал, что ей сказать и как себя вести; не знал, что скажет она и как будет себя вести. Я искал Бригд, думая о Звиде: цель моих поисков была двулика: Бригд-Звида, такая же двулика, как я сам; я уходил от Понко, безуспешно оттирая слюной пятно крови на вельветовой куртке – моей или его крови, из моей разбитой губы или расквашенного носа Понко.

И в этой своей двуликости я услышал и увидел сквозь проем двери, ведущей в парадную залу, пана Каудерера. Вытянув вперед руку, он говорил:

– И тут я увидел их обоих, Кауни и Питте. Одному было двадцать два, другому двадцать четыре. Грудь каждого из них была прошита крупной охотничьей дробью.

– Когда это случилось? – спросил мой дед. – Мы ничего

об этом не знали.

– Перед самым отъездом справили девятый день.

– Мы-то думали, что между вами и Оцкартами все уже уладилось. Считали, что на старой вражде давным-давно поставлен крест.

Голые, без ресниц, глаза пана Каудерера неподвижно уставились в пустоту. Ни один мускул не дрогнул на его гуттаперчево-желтом лице.

– Мир между Оцкартами и Каудерерами длится от одних похорон до других. А крест мы ставим на могилах наших сородичей. С надписью: «Дело рук Оцкартов».

– А вы что же? – как всегда, не выдержал Бронко.

– Оцкарты тоже пишут на своих могилах: «Дело рук Каудереров», – сказал пан Каудерер и прибавил, разглаживая пальцем усы: – Здесь Понко будет наконец в безопасности.

Тут моя мать сложила ладони и воскликнула:

– Пресвятая Дева, неужто нашего Гритцви подстерегает опасность? А ну как они выместят на нем свою злобу?

Пан Каудерер покачал головой, не взглянув на нее:

– Он ведь не Каудерер! Это нам вечно грозит опасность!

Распахнулась дверь. В остекленевшем морозном воздухе поднималось облако пара от горячей конской мочи. На пороге возник краснощекий конюх и объявил:

– Запрягли!

– Гритцви! Где ты там? Пора! – крикнул дед. Я шагнул навстречу пану Каудереру, который уже застегивал шинель.

Глава третья

Использование разрезного ножа предполагает сразу несколько усад: осязательных, слуховых, зрительных и, главное, умственных. Продвижению чтения предшествует жест, разобщающий материальную плоть книги и дающий возможность проникнуть в ее бесплотную субстанцию. Вспоров страницы снизу, лезвие порывисто лезет вверх, ширя разрез в беглой последовательности секущих ударов, разнимающих одно за другим скошенные бумажные волокна; с дружеским, радостным поскрипыванием благодущная бумага встречает первого посетителя, предвещающего бесконечное листание страниц, переворачиваемых то ветром, то взглядом; куда большее сопротивление оказывает горизонтальный сгиб, особенно двойной, поскольку требует несподручного усилия в противоположном направлении, – теперь бумага уступает с приглушенно-сдобным треском на октаву ниже. Кромка страниц размыкается, обнажая свою волокнистую ткань – тонкую бахрому, именуемую «ежи́ком», – и плавно распадается, словно пенистая волна, рассеченная волнорезом. Брешь, сделанная взмахом шпаги в бумажном заслоне страниц, наводит на мысль о замкнутости и потаенности слова: ты продираешься сквозь текст, как сквозь дремучий лес.

В романе, который ты читаешь, представлен густой, насы-

щенный мир, нарочито развернутый во всех подробностях. Погрузившись в роман, ты машинально водишь разрезным ножом в толще тома: в чтении ты продвинулся только до конца первой главы, зато в потрошении страниц – гораздо дальше. И вот, когда твое внимание напряжено до предела, ты переворачиваешь страницу на середине решающей фразы и обнаруживаешь перед собой две пустые страницы.

Ты ошеломлен при виде этой нестерпимой белизны, слепящей, точно разверстая рана. Ты еще тешишь себя надеждой, что на миг поразившая тебя слепота заволокла молочной пеленой и книжный разворот, на котором вот-вот проявится прямоугольная рамка, исполосованная типографским шрифтом. Но нет, обращенные друг к другу листы и впрямь сияют нетронутой белизной. Ты снова перекидываешь страницу: теперь разворот усеян привычными зернами шрифта. Ты продолжаешь листать книгу: чета пустых страниц соседствует с четой печатных. Листы были оттиснуты лишь с одной стороны, а затем благополучно сложены вдвое и сброшюрованы.

Итак, роман, столь плотно сотканный из вереницы ощущений, внезапно распался на бездонные пропасти, как будто самонадеянная попытка передать всю полноту жизни вскрыла таящуюся под ней пустоту. Ты пробуешь перескочить через зияющий изъясн и возобновить чтение, ухватившись за ближайший обрывок сюжета, изодранный, как бахрома разрезанных страниц. Напрасный труд: сменились и герои, и ме-

сто действия; о чем тут речь – не разобрать; чьи это имена – неизвестно: Гела, Казимир... Ты уже подумываешь, а не другая ли это книга? Может, это и есть подлинный текст польского романа «Неподалеку от хутора Мальборк», а то, что ты прочел вначале, вообще относится к какой-то другой книге, неизвестно какой?

Тебе и раньше казалось, что имена героев звучат не совсем на польский манер: Бригд, Гритцви. У тебя есть большой атлас мира, очень подробный; в указателе географических названий ты ищешь Пёткво, по-видимому крупный областной центр, и Аагд, скорее всего реку или озеро. Они затерялись где-то на далекой северной равнине, поочередно переходившей от одного государства к другому в результате последних войн и мирных договоров. Может, в том числе и к Польше? Ты раскрываешь энциклопедию, справочник по истории; увы, Польша тут ни при чем: между Первой и Второй мировыми войнами на этой территории существовало независимое государство Киммерия со столицей Эркко; государственный язык – киммерийский, ботно-угорской группы. Статья в энциклопедии, озаглавленная «Киммерия», заканчивается малоутешительным выводом: «В ходе последующих территориальных разделов между его более могущественными соседями молодое государство вскоре исчезло с политической карты мира. Коренное население рассеялось: киммерийские язык и культура не получили дальнейшего развития».

Поскорее бы переговорить с Читательницей, узнать, достался ли и ей такой же экземпляр, поделиться соображениями и рассказать все, что ты выяснил... Ты находишь в записной книжке номер телефона, нацарапанный против ее имени во время вашей первой встречи.

– Алло, Людмила? Представьте, это совсем не тот роман, хотя и здесь, по крайней мере в моем экземпляре...

Голос на другом конце провода сдержан и слегка насмешлив:

– Видите ли, это не Людмила. Это ее сестра, Лотария. – (Ну конечно, ведь она предупреждала: «Если меня нет, ответит моя сестра».) – Людмилы нет. А что вы хотели?

– Да так, насчет одной книги... Пустяки, я перезвоню...

– Роман, говорите? Людмила вечно носится с каким-нибудь романом. И кто автор?

– Какой-то Базакбал. Роман, судя по всему, польский. Она тоже его читает. Вот я и хотел обменяться впечатлениями.

– Ну и как он?

– Да вроде неплохой...

Ты так и не понял. Лотария хочет узнать, какое место занимает автор по отношению к Направлению Современной Мысли и Вопросам, Требующим Неотложных Решений. Дабы облегчить твою задачу, она перечисляет несколько имен Крупных Писателей, среди которых тебе предлагается его поместить.

У тебя снова такое чувство, как в тот момент, когда раз-

резной нож распахнул перед тобой чистые страницы.

– Трудно сказать. Понимаете, я еще толком не разобрался ни как называется книга, ни кто ее автор, Людмила вам все объяснит. Это довольно запутанная история.

– Людмила проглатывает книгу за книгой, но никогда не задумывается над их смыслом. По-моему, все это пустая трата времени. Вам не кажется?

С ней лучше не спорить, иначе она не отстанет. Так и есть: тебя уже зовут на какой-то университетский семинар, где книги разбирают по косточкам в соответствии со всеми мыслимыми Кодами Сознательного и Подсознательного; где отбрасываются любые Табу, предписанные Господствующим Полом, Классом или Культурой.

– И Людмила туда ходит?

Нет, по всей видимости, Людмила не участвует в делах сестры. А вот на твое участие Лотария очень даже рассчитывает.

Не стоит давать поспешных обещаний.

– Посмотрим, постараюсь, хотя точно сказать не могу. В любом случае передайте, пожалуйста, сестре, что я звонил... Впрочем, необязательно, я перезвоню. Большое спасибо.

Ну все, достаточно. Можешь повесить трубку.

Но Лотария удерживает тебя:

– Только имейте в виду, сюда звонить бесполезно: Людмила здесь не живет, это моя квартира. Людмила дает этот телефон случайным знакомым. Она считает, что я буду от-

важивать самых рьяных.

Экая досада, просто зло берет. Ты столько ждал от этой книги, и вдруг все обрывается. Ты надеялся, что этот номер телефона принесет тебе нечто новое, и вот на твоём пути встает какая-то Лотария в позе экзаменатора...

– А, понимаю. Ну извините.

– Алло? Это с вами мы познакомились в книжном магазине? – В трубке совсем другой голос, *ее* голос. – Да, это Людмила. И у вас чистые страницы? Этого следовало ожидать. Очередная ловушка. А главное – на самом интересном месте. Только я рассчиталась. И герои совершенно необычные: Понко, Гритцви...

От радости ты теряешь дар речи:

– Звида...

– Что-что?

– Звида, Звида Оцкарт! Интересно, как-то там все сложится у Гритцви и Звиды Оцкарт... Вам такие книги тоже нравятся?

Молчание. Немного погода голос Людмилы оживает и звучит медленно, пытаясь выразить мысль, не поддающуюся пока точному определению:

– Да, нравятся, даже очень... Хотелось бы только, чтобы все было не таким предметным и тяжеловесным; чтобы от сюжета веяло чем-то загадочным и неведомым...

– Вот-вот, и я так чувствую...

– При этом я не говорю, что в романе нет ничего загадоч-

ного...

– Еще бы. По-моему, загадка в том и состоит, что это киммерийский роман, ким-ме-рийский, а никакой не польский; и автор, и название романа должны быть другими. Не понимаете? Вот послушайте. Киммерия: население триста сорок тысяч человек, столица Эркко; основные природные богатства: торф и побочные продукты, а также битумные соединения. Нет-нет, в романе об этом ничего не сказано...

Теперь вы оба замолкаете. Вероятно, Людмила прикрыла трубку ладонью и советуется с сестрой. Той-то наверняка что-то известно о Киммерии, с нее станется. Кто ее знает, что она такое выдаст: будь начеку.

– Алло, Людмила...

– Я слушаю.

Твой голос делается вкрадчиво-мягким и настойчивым:

– Знаете, Людмила, я должен вас увидеть, нам нужно обсудить все эти совпадения и несовпадения. Если можно, прямо сейчас. Вы где живете? Где нам удобнее встретиться? Я мигом подъеду.

Она отвечает так же спокойно:

– Я знаю одного университетского преподавателя. Он как раз преподает киммерийскую литературу. Мы могли бы с ним посоветоваться. Сейчас я ему позвоню и спрошу, когда у него есть время.

И вот ты уже в университете. Людмила договорилась о

встрече с профессором Уцци-Туцци на его кафедре. По телефону профессор сказал, что будет только рад помочь тем, кто интересуется киммерийской литературой.

Тебе хотелось бы увидаться с Людмилой раньше, может, заехать за ней домой и потом вместе отправиться в университет. Так ты и предложил, но Людмила отказалась: не стоит беспокоиться, в это время она все равно будет в тех краях по другим делам. Ты настаивал, ссылаясь на то, что совсем не знаешь университета и боишься заплутать в его лабиринтах, – не проще ли встретиться в каком-нибудь кафе минут на пятнадцать пораньше? Но и это ей не подошло: вы увидите прямо там, на кафедре ботно-угорских языков; спросите – вам любой покажет. Ты понял, что Людмила, при всей ее внешней мягкости, любит брать бразды правления в свои руки и все решать сама; тебе остается лишь следовать за ней.

Ты подъезжаешь к университету в назначенное время, пробираешься между студентами и студентками, рассеянными на ступеньках парадной лестницы; слегка робея, бредешь вдоль строгих стен, испещренных мелким бисером неумеренных студенческих сентенций, изрисованных замысловатыми цветными каракулями – отголосками доисторических времен, когда пещерный человек испытывал необходимость оставить след на хладных стенах своего сурового жилища, чтобы усмирить их тревожную каменную отстраненность, приручить, опрокинуть в собственное внутреннее пространство, соединить с телесностью бытия. Чита-

тель, я знаю тебя слишком мало и не берусь утверждать наверняка, идешь ли ты по университетским переходам с равнодушно-уверенным видом, или в глубине твоей чувствительной, чуткой души воспринимаешь мир учащихся и учителей – под воздействием былых потрясений или сознательно сделанного выбора – как некое кошмарное наваждение. Так или иначе, здесь никто понятия не имеет о такой кафедре; тебя гоняют вверх-вниз по этажам; ты то и дело открываешь не ту дверь, смущенно пятишься; кажется, будто ты заблудился в книге с чистыми страницами и не в силах выбраться из нее.

По коридорам вяло плетется парень в длинном свитере. Заметив пришельца, он указывает на тебя пальцем и говорит:

- Ты ждешь Людмилу!
- Откуда вы знаете?
- Догадался. Мне достаточно одного взгляда.
- Вас послала Людмила?
- Нет, просто я везде хожу, со всеми встречаюсь, там услышу, тут увижу – вот и готова картина.
- Так вы знаете, куда мне нужно?
- Если хочешь, я провожу тебя к Уцци-Туцци. Людмила уже там или скоро подойдет.

Бойкого всезнайку зовут Ирнерио. Ты можешь перейти с ним на «ты», коль скоро он уже это сделал.

- Ты занимаешься у профессора?
- Ни у кого я ничем не занимаюсь. Я знаю, где кафедра,

потому что заходил туда за Людмилой.

– Значит, Людмила учится на этой кафедре?

– Не-ет. Она любит забиться в укромное местечко и прятаться там.

– От кого?

– Да ото всех.

Из расплывчатых ответов Ирнерио следует, что Людмила, похоже, избегает встреч с сестрой. Если она не пришла вовремя, то потому, что не хочет попасться на глаза Лотарии, у которой сегодня назначен семинар.

Допустим, сестры не ладят между собой, но в чем-то они все же находят общий язык. Например, что касается телефона. Неплохо бы выведать это у Ирнерио, а заодно убедиться, вправду ли он такой ушлый и все про всех знает.

– Так ты с кем дружбу водишь: с Людмилой или с Лотарией?

– С Людмилой конечно. Но я и с Лотарией на короткой ноге.

– А вы, часом, не обсуждаете книги, которые ты прочел?

– Я? Я книг вообще не читаю! – заявляет Ирнерио.

– Что же ты в таком случае читаешь?

– А ничего. Я настолько привык не читать, что не читаю даже то, что само попадает на глаза. Не так-то это просто: к чтению нас приучают с детства, и на всю жизнь мы становимся рабами разного печатного хлёбова, которым нас старательно пичкают. Поначалу мне было нелегко научить-

ся не читать, зато теперь это получается совершенно непри-
нужденно. Вся хитрость в том, что не надо заставлять себя
не смотреть на слова, наоборот: на них нужно смотреть как
можно напряженнее, пока они не исчезнут.

У Ирнерио большие, светлые, живые глаза; от его быстро-
го взгляда, верно, ничто не ускользнет: ни зверь, ни птица,
ни малейшее твое движение.

– Тогда объясни, зачем ты приходишь в университет?

– А почему бы и нет? Тут всегда полно народу, есть с кем
пообщаться, потолковать. Не знаю, как другие, лично я для
этого сюда и хожу.

Ты пытаешься представить мир, обступивший нас со всех
сторон плотными письменами, – так, как он представляется
человеку, научившемуся не читать. В то же время ты спра-
шиваешь себя, какая может быть связь между Читательни-
цей и Нечитателем. Неожиданно тебя осеняет: их объединя-
ет именно то, что их разъединяет, – и ты не в силах подавить
внезапное чувство ревности.

Ты не прочь порасспросить Ирнерио еще, но, поднявшись
по боковой лесенке, вы уже подошли к низенькой дверце с
табличкой «Кафедра ботно-угорского языка и литературы». Ирнерио громко стучит, говорит: «Пока» – и оставляет тебя
одного.

Дверца с трудом приоткрывается. Судя по пятнам извест-
ки на косяке и кепочке, показавшейся над рабочей кацавей-
кой, внутри идет ремонт и сейчас там только маляр или чер-

норабочий.

– Могу ли я видеть профессора Уцци-Туцци?

Утвердительный взгляд, обращенный на тебя из-под кепки, явно не соответствует предполагаемому взгляду маляра: это взгляд человека, решившего перемахнуть через пропасть; мысленно он уже видит себя на другом краю и отрешенно уставился перед собой, стараясь не смотреть вниз и по сторонам.

– Это вы? – спрашиваешь ты, хотя и так сообразил, что профессором не может быть никто иной. Человечек не увеличивает узкий просвет.

– Что вам угодно?

– Извините, я только хотел узнать... Вам звонили... Одна девушка... Людмила... Она здесь?

– Нет тут никаких Людмил... – роняет профессор, отступая назад и показывая на заполонившие комнату стеллажи (неразборчивые названия книг и фамилии авторов, выведенные на корешках и обложках), как на сплошную, без единой прогалины, ошетилившуюся изгородь. – А почему, собственно, вы ищете ее у меня? – И пока ты припоминаешь слова Ирнерио о том, что в этом укромном местечке Людмила прячется от посторонних глаз, Уцци-Туцци неопределенным жестом предъявляет свое незатейливое научное логовище, словно говоря: «Милости просим, убедитесь сами: ее здесь нет», – так, будто чувствует потребность снять с себя всякие подозрения в укрывательстве.

– Мы собирались прийти вместе, – уточняешь ты, чтобы внести окончательную ясность.

– Тогда почему вы не с ней? – выстреливает вопросом Уцци-Туцци. Вопрос, кстати, вполне логичный и окрашен подозрительными нотками.

– Она вот-вот придет... – замечаешь ты полувопросительно, точно ждешь от Уцци-Туцци подтверждения твоих слов. Тебе ровным счетом ничего не известно о привычках Людмилы, а он, похоже, знает о них гораздо больше. – Вы знакомы с Людмилой, не так ли?

– Знаком... А что, собственно... вас интересует? – нервничает профессор. – Киммерийская литература или... – Кажется, он хочет добавить: «...или Людмила?», но не заканчивает фразу. Честно говоря, ты и сам не знаешь, что тебя больше интересует: киммерийский роман или его Читательница. К тому же реакция профессора на имя Людмилы и откровения Ирнерио окутывают Читательницу дымкой таинственности, вызывают к ней боязливое любопытство, подобное тому, что ты испытываешь к Звиде Оцкарт из романа, продолжение которого ищешь, а заодно и к синьоре Марнэ из романа, который начал накануне и отложил на время: ты бросился в погоню сразу за всеми призраками – воображаемыми и живыми.

– Я хотел... Мы хотели узнать, есть ли такой киммерийский писатель...

– Присаживайтесь, – обрывает тебя профессор, внезапно

овладевая собой, хотя в действительности им самим овладевает глубокое и продолжительное волнение, сменяя и рассеивая волнения легкие и скоропреходящие.

Кафедра – всего-навсего тесная комнатуха, загроможденная книжными шкафами, протянувшимися вдоль стен. Прямо посреди комнаты замялся в нерешительности, так и не найдя опоры, еще один шкаф; он теснит и без того стесненное пространство; письменный стол профессора и стул, на который тебе предстоит опуститься, разделены своего рода кулисой: чтобы увидеть друг друга, вам приходится вытягивать шею.

– Нас сослали в эту каморку... Университет расширяется, а мы сужаемся... Среди живых языков киммерийский выступает в роли Золушки... Если, конечно, киммерийский вообще можно считать живым языком... Но в том-то и дело! – вскрикивает он запальчиво, тут же, впрочем, остывая. – В том-то и дело, что киммерийский – современный и вместе с тем мертвый язык... В этом его преимущество над другими языками... Только никто этого не понимает...

– У вас мало студентов? – спрашиваешь ты.

– Кто же сюда пойдет? Кто теперь помнит о киммерийцах? Среди редких и забытых языков есть куда более привлекательные... Баскский... Бретонский... Цыганский... Большинство студентов посещают эти кафедры... Но не для того, чтобы учить язык: об этом никто уже и не думает... Им лишь бы о чем-нибудь поспорить, не важно о чем; глав-

ное – побольше пищи для дискуссии. Мои коллеги как-то к этому приспособливаются, плывут по течению, подыскивают разные модные темки для семинаров вроде «Социология валлийского» или «Психолингвистика старопровансальского»... Однако для киммерийского все это не подходит.

– Почему?

– Киммерийцы исчезли, как сквозь землю провалились. – Профессор качает головой, словно набираясь терпения, чтобы в сотый раз повторить одно и то же. – Так что вы пожаловали на мертвую кафедру мертвой литературы на мертвом языке. Спрашивается: зачем тогда сегодня учить киммерийский? Я понимаю это лучше других и потому говорю: не хотите приходить – не приходите: по мне, кафедру можно вообще закрыть. Но приходить сюда для того, чтобы... Нет, это уж слишком.

– А для чего сюда приходят?

– Для чего угодно. Всякого насмотришься. Неделями здесь ни души, но если кто заглянет, то ради такого, что... Помилуйте, держитесь отсюда подальше, твержу я им; что вам до книг, написанных на мертвом языке? Какое там – нарочно договариваются: пошли, мол, на ботно-угорские языки, к Уцци-Туцци. Короче, берут меня в оборот, а я вынужден на все это смотреть и делать вид, будто участвую...

– В чем? – упорствуешь ты, представляя, как Людмила навевывалась сюда, как пряталась здесь, возможно, с Ирнерио или с другими...

– В чем угодно... Наверное, что-то их привлекает, какая-то неопределенность между жизнью и смертью. Скорее всего, они чувствуют это неосознанно. Они приходят за тем, за чем приходят. В семинар не записываются, на лекциях не появляются. Никто отродясь не интересовался литературой киммерийцев, погребенной в этих шкафах, как в братской могиле...

– А я как раз хотел узнать... Зашел спросить, есть ли такой киммерийский роман, который начинался бы... Хотя нет, лучше я назову имена главных героев: Гритцви и Звида, Понко и Бригд; сначала действие происходит в Кудгиве (может, это просто название фермы), затем, судя по всему, переносится в Пёткво, на Аагд...

– Тут и думать нечего! – восклицает профессор, мгновенно встряхиваясь от недавнего уныния и загораясь, словно лампочка. – Это, без сомнения, единственный дошедший до нас роман одного из самых одаренных киммерийских поэтов первой четверти века Укко Ахти. Называется роман – «Над крутым косогором склонившись»... Вот он! – И точно рыба, преодолеваящая наперекор течению кипучую стремнину, Уцци-Туцци устремляется к вполне определенному шкафу, выхватывает оттуда щупленький томик в зеленом переплете, стряхивает с него пыль. – Роман никогда не переводился на другие языки. Еще бы: это настолько сложно, что у кого угодно руки опустятся. Вот послушайте: «Я утверждаюсь в убеждении...» Нет, скорее так: «Я постепенно утвер-

ждуясь в непреложности моего обращения...» Заметьте, оба глагола стоят в несовершенном виде и указывают на протяженность сиюминутного действия...

Одно тебе ясно сразу: эта вещь не имеет ничего общего с начатым тобой романом. Совпадают лишь отдельные имена героев, что само по себе, конечно, странно, но сейчас уже не до этого, потому что мало-помалу из трудно дающегося перевода с листа в исполнении Уцци-Тущи вырисовывается сюжетная линия, из старательной расшифровки глагольных сгустков выступает развернутое повествование.

Над крутым косогором склонившись

Чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что мир стремится о чем-то меня известить, уведомить, предупредить. Я чувствую это с тех пор, как приехал в Пёткво. Каждое утро я выхожу из пансиона «Кудгива» и отправляюсь на прогулку к порту. Я прохожу мимо метеорологической станции и думаю о надвигающемся конце света, который, впрочем, давно уже наступил и продолжается. Если бы для конца света можно было отвести строго определенное место, этим местом, несомненно, была бы метеорологическая станция в Пёткво: под железным навесом, парящим на четырех шатких столбах, укрылись, выстроившись в ряд на длинном кронштейне, самопишущие барометры, гигрометры, термографы; с мерным потикиванием часового механизма разматываются под пером дрожащего самописца рулоны миллиметровой бумаги. Вертушка анемометра, закрепленного на высокой мачте, и приземистая воронка осадкомера довершают хрупкое оснащение станции; уединившись на самом гребне косогора в местном парке, вонзаясь в неподвижно-ровное, жемчужно-серое небо, она возвышается, словно ловушка для циклонов, броская приманка для далеких отголосков тропических океанских смерчей, идеальная мишень для

неистовых порывов ураганного ветра.

Бывают дни, когда всякий попадающийся на глаза предмет как будто исполнен глубокого смысла: сообщенное им совсем не просто сообщить другим, определить, выразить словами; именно поэтому оно представляется наиболее важным. Эти знамения или предвестия касаются меня и, вместе, всего мира; во мне они затрагивают не внешнюю, житейскую сторону, а то, что происходит внутри, в глубине моего существования; и в мире – не какую-нибудь частность, а всеобщую суть бытия. Надеюсь, вы поймете, сколь трудно мне изъясняться на сей счет иначе, чем сплошными намеками.

Понедельник. Сегодня у моря я видел, как из окошка тюремной камеры высунулась рука. Я привычно прогуливался по дамбе, огибая старую крепость с тыльной стороны. Крепость обнесена кольцом округлых стен; окна, схваченные двойной, а то и тройной решеткой, кажутся замурованными. Зная, что в крепости содержатся заключенные, я, однако же, всегда воспринимал ее как часть застывшей природы, каменного царства. Вот почему возникшая из оконной слепоты рука удивила меня так, словно она выступила из кремнистой твердыни скалы. Рука зависла в неестественной позе; надо думать, окна в камерах находятся едва ли не под самым потолком и вдобавок прорублены в неохватной толще стены; по-видимому, заключенный совершил поистине акробатический трюк, под стать заправскому гимнасту, что-

бы просунуть руку сквозь решетки и взмахнуть ею на свободе. Взмах не был знаком узника – мне или кому другому; во всяком случае, я не воспринял взмах как знак, в тот миг я и не думал об узниках крепости; скажу лишь, что рука показала мне тонкой и белой, почти как у меня; ничто в ней не указывало на грубость, предполагаемую в руке острожника. То был скорее знак, поданный мне камнем: камень предупредил, что мы созданы из одного вещества, и потому что-то, что делает меня мною, останется, не сгинет после конца света; возможность поддерживать связь сохранится и в безжизненной пустыне, где не будет ни меня, ни напоминания обо мне. Таковы мои первые впечатления, ибо только они чего-то по-настоящему стоят.

Я дошел до бельведера; под ним видна полоска пустынного пляжа, выползающего из свинцового моря. Плетеные кресла с высокими, загнутыми корзиной спинками, заслоняющими от ветра, расположились полукругом, словно изображая мир в тот момент, когда человеческий род уже исчез, а вещи лишь подчеркивают его отсутствие. Я почувствовал легкое головокружение, словно безостановочно низвергаюсь из одного мира в другой и в каждый из них попадаю вскоре после того, как произошел конец света.

Через полчаса я снова оказался на бельведере. Сбоку от кресла, обращенного ко мне спинкой, развевалась лиловая лента. Я спустился с мыса по крутой тропинке до площадки, откуда меняется угол зрения. Как я и ожидал, в кресле-кор-

зине, полностью скрытая плетеными овальными бортиками, сидела мадемуазель Звида в белой соломенной шляпке; раскрыв на коленях альбом для эскизов, она рисовала раковины. Я не особо обрадовался этой встрече: дурные утренние знаки отвращали меня от разговора; уже без малого месяц, как я встречаю ее одну во время моих прогулок по горам и дюнам и ищу случая заговорить с ней; ради этого я и выхожу каждый день из моего пансиона, но каждый день что-то удерживает меня.

Мадемуазель Звида остановилась в гостинице «Морская лилия»; ее имя сообщил мне портье; скорее всего, она узнала об этом; в это время года в Пёткво мало отдыхающих, а молодежь и вовсе можно по пальцам пересчитать; то и дело сталкиваясь со мной, она, наверное, ждет, когда же я наконец поздороваюсь. Причин, препятствующих нашей возможной встрече, более чем достаточно. Во-первых, м-ль Звида собирает и рисует раковины; много лет назад, в отрочестве, у меня была прекрасная коллекция раковин, потом я забросил это занятие и решительно обо всем забыл: о классификации, морфологии, географическом распределении различных видов; разговор с м-ль Звидой неизбежно зашел бы о раковинах; в этом случае я даже не представляю, как себя вести: изображать полное невежество или, поднатужившись, припомнить давнишнее и бесплодное увлечение; мысль о раковинах заставляет в очередной раз задуматься о моих отношениях с жизнью, состоящей из полузабытых и неосуществ-

ленных замыслов; отсюда и это извечное чувство неловкости, в конечном счете обращающее меня в бегство.

К сказанному надо добавить следующее: усердие, с коим эта девушка предается рисованию раковин, указывает на ее стремление выявить совершенство как форму, которую мир может, а значит, должен обрести; я же, напротив, давно убедился, что совершенство возникает лишь в дополнение к чему-то, случайно и, следовательно, не представляет ни малейшего интереса, так как истинная природа вещей раскрывается только в распаде; при знакомстве с м-ль Звидой полагалось бы лестно отозваться о ее рисунках – выполненных, насколько я успел заметить, с немалым изяществом, – и сделать вид, будто я принимаю эстетический и нравственный идеал, который я отвергаю; или сразу объявить о моем мироощущении, рискуя тем самым уязвить ее.

Третье препятствие – мое здоровье; хоть оно и заметно улучшилось благодаря пребыванию на море, рекомендованному мне врачами, но все же его состояние ограничивает число прогулок и круг новых знакомств; временами у меня бывают вспышки старых болезней, в особенности обострения докучливой экземы, отбивающей всякое желание общаться с кем-либо.

Иной раз мы перебрасываемся парой слов со здешним метеорологом, господином Каудерером, когда я застаю его на метеостанции. Г-н Каудерер неизменно появляется там в полдень, чтобы снять показания приборов. Это рослый,

худощавый мужчина, с прокопченным, как у индейца, лицом. Он подъезжает на велосипеде, сосредоточенно глядя впереди себя, словно удержание равновесия требует от него предельного внимания. Прислонив велосипед к столбу, он расстегивает привязанную к раме плоскую сумку и достает продолговатый узкий журнал. Поднимается по лестничным жердочкам и переписывает данные приборов: некоторые карандашом, некоторые толстой авторучкой, ни на секунду не ослабляя пристального внимания. Из-под длинной куртки виднеются бриджи; вся одежда – из мохнатого серого сукна в черно-белую клетку, включая сплюсненную кепочку. Лишь после того, как все необходимые операции закончены, он замечает, что я наблюдаю за ним, и приветливо здоровается.

Я хорошо понимаю, что присутствие г-на Каудерера крайне важно для меня. Одно то, что кто-то еще способен на подобные прилежание и аккуратность, пусть даже, на мой взгляд, совершенно бесполезные, действует на меня успокаивающе, оттого, быть может, что восполняет неопределенность моей жизни; неопределенность, которую я продолжаю воспринимать как вину, несмотря на сделанные мною выводы. Поэтому я частенько наблюдаю за метеорологом, иногда заговариваю с ним, хотя сам по себе наш разговор мне в общем-то безразличен. Он, разумеется, говорит о погоде, обильно сдабривая свою речь специальными словечками, а также о нашем неустойчивом времени, приводя в пример случаи из местной жизни или вычитанные в газетах новости.

В эти мгновения он выглядит не столь замкнутым, каким кажется на первый взгляд; наоборот, он распаляется, становится красноречив, особенно когда порицает мысли и поступки подавляющего большинства людей, ибо сам он из тех, кто по натуре склонен к недовольству.

Сегодня г-н Каудерер объявил мне, что будет отсутствовать несколько дней и должен найти себе замену на это время, однако не знает, кому доверить столь ответственное дело, как запись показаний метеоприборов. Он спросил, нет ли у меня желания научиться считывать данные приборов, в этом случае он охотно покажет, как это делается. Я не сказал ему ни да ни нет, по крайней мере не дал ясного ответа, но оказался рядом с ним, когда он стал объяснять, как делать максимальный и минимальный замеры, как определять изменение давления, количество осадков, скорость ветра. Словом, не дав мне опомниться, он возложил на меня свои обязанности на ближайшие дни, начиная с завтрашнего полудня. Времени на обдумывание не было, а говорить ему, что подобные вещи не решаются с бухты-барахты, я счел неуместным. Пришлось согласиться. Впрочем, особого неудовольствия от этого поручения я не испытываю.

Вторник. Сегодня утром я впервые заговорил с м-ль Звидой. Роль метеоролога отчасти помогла мне совладать с моей нерешительностью. Впервые за время моего пребывания в Пёткво обозначилась какая-то определенность, избежать

которую я никак не мог; поэтому, как бы ни сложилась наша беседа, без четверти двенадцать я скажу: «Чуть не забыл, мне пора на метеостанцию: нужно делать замеры» – и откланяюсь, возможно, скрепя сердце, возможно, с облегчением, во всяком случае, с уверенностью, что иначе поступить нельзя. Думаю, что смутно уловил это еще вчера, когда г-н Каудерер предложил заменить его; смекнул, что это подвигнет меня на разговор с м-ль Звидой; но только сейчас все окончательно прояснилось, если, конечно, прояснилось.

М-ль Звида рисовала морского ежа. Она сидела на краю мола на складном стульчике. Еж опрокинулся на большом валуне и раскрылся: как ни старался он выпрямиться, сгибая острые иглы панциря, ничего не выходило. Из-под кончика карандаша выступал набросок влажной мякоти моллюска; ежиное брюшко то растягивалось, то сжималось, отливаясь на ватмане плавной игрой светотени, обрамленной густой и колкой штриховкой. Наперед заготовленная мною речь о форме раковин как обманчивой гармонии, оболочке, скрывающей истинную суть природы, пришлась бы теперь некстати. Вид морского ежа и самый рисунок вызывали неприятные, мучительные ощущения, какие бывают при виде вскрытых и выставленных напоказ внутренностей. Для начала я заметил, что нет ничего труднее, чем рисовать морских ежей: как увиденная сверху игольчатая спинка, так и беспомощно завалившийся навзничь моллюск, несмотря на лучистую симметрию шаровидного тельца, почти не оставляют заце-

пок для линейного изображения. Отвратный натурщик занимал ее тем, отвечала она, что напоминал навязчивый образ ее сновидений, от которого она хотела избавиться. Прощаясь, я осведомился, не могли бы мы увидеться завтра утром на том же месте. Она ответила, что завтра у нее какое-то неотложное дело, но послезавтра снова пойдет на этюды и я обязательно встречу ее.

Пока я возился с барометрами, к вышке подошли двое. Прежде я их никогда не видел: оба в черных запахнутых пальто с поднятыми воротниками. Справлялись о г-не Каудерере: где он, куда отправился, знаю ли я его адрес, когда вернется. Сказал, что не знаю, и поинтересовался, кто они и почему меня об этом спрашивают.

– Просто так, – буркнули они и удалились.

Среда. Я отнес букет фиалок в гостиницу «Морская лилия». Для м-ль Звиды. Портье сказал, что она ушла чуть свет. Я долго бродил, надеясь случайно встретить ее. На плацу перед крепостью теснились в очереди родственники заключенных: нынче в тюрьме день свиданий. Среди щупленьких женщин в платках и хнычущих детей я заметил м-ль Зvidу. Лицо скрыто черной вуалью под полями шляпы; держится невозмутимо: высоко и горделиво поднята голова.

В углу плаца, словно присматривая за очередью перед тюремными воротами, стояли те двое в черном, что расспрашивали меня вчера у вышки.

Морской еж, вуаль, двое неизвестных, — черный цвет продолжает настойчиво обращать на себя мое внимание: эту настойчивость я воспринимаю как зов смерти. Я давно уже сознательно пытаюсь обособиться от темноты. Запрет врачей выходить после заката обрек меня на долгие месяцы дневного существования. Но главное даже не это, а то, что в дневном свете, в этом размытом, бледном, почти бестенном сиянии я нахожу куда более вязкие и густые сумерки, чем сумерки ночи.

Среда. Вечер. Первые часы сумерек я каждый вечер посвящаю этим строкам, не будучи уверенным, что их когда-нибудь прочтут. Шар из стеклянного теста, подвешенный к потолку моей комнаты в пансионе «Кудгива», озаряет бег моего письма, быть может, излишне нервного, чтобы будущий читатель сумел его разобрать. Быть может, этот дневник увидит свет много-много лет спустя после моей смерти, когда наш язык претерпит непредсказуемые изменения и некоторые вполне обычные сейчас слова и выражения зазвучат в диковинку и малопонятно. Так или иначе, у нашего моего дневник, наверное, будет передо мной одно безусловное преимущество: из письменной речи всегда можно извлечь словарь и грамматику, вычленить предложения, изложить или переиначить их на другом языке; я же пытаюсь прочесть в череде ежедневно возникающих на моем пути вещей намерения окружающего мира в отношении меня и продвигаюсь

наугад, зная, что не существует такого словаря, который выразил бы тяжесть сумрачных намеков, что скрыты в вещах. Я бы хотел, чтобы это колыхание предчувствий и сомнений дошло до моего чтеца не как досадная помеха для понимания написанного мною, но как самая его суть; и ежели продолжение моих мыслей будет ускользать от того, кто возьмется проследить за ним, исходя из основательно переменившегося склада ума, главное, чтобы ему передалось усилие, совершаемое мною с единственной целью уловить между строками вещей уклончивый смысл того, что меня ждет.

Четверг.

– Благодаря специальному разрешению тюремного начальства, – объяснила мне м-ль Звида, – я могу входить в крепость в дни посещений и сидеть за столом в комнате свиданий с рисовальным альбомом и угольным карандашом. В простых человеческих чувствах родственников кроется множество увлекательных сюжетов для этюдов с натуры.

Я ни о чем ее не спрашивал, просто она увидела меня вчера на плацу и сочла своим долгом объясниться. Лучше бы она ничего не говорила, ибо я не питаю ни малейшего пристрастия к изображению человеческих фигур и не знал бы, что сказать, покажи она свои наброски, – впрочем, она их так и не показала. Я подумал, что, вероятно, наброски помещаются в особую папку, которую м-ль Звида оставляет в

надзирательской; ведь вчера — я хорошо это помнил — при ней не было ее неразлучного спутника — рисовального альбома, а заодно и пенала для карандашей.

— Если бы я умел рисовать, то целиком посвятил бы себя изучению формы неодушевленных предметов, — произнес я с решительностью в голосе, желая переменить тему разговора, но еще и потому, что действительно склонен распознавать свое душевное состояние в неподвижной мучке вещей.

М-ль Звида немедленно согласилась со мной: гораздо охотнее она нарисовала бы, скажем, небольшой четырехлапый якорь (рыбаки еще называют их «кошками»). Она показала несколько таких якорей, когда мы проходили мимо рыбацких баркасов, пришвартованных к молу, и пояснила, в чем трудности изображения замысловатых изгибов и удаляющихся перспектив четырех якорных лап. И тут я понял, что в этом предмете содержится адресованное мне послание и я должен расшифровать его: якорь — призыв закрепиться, сосредоточиться, взять себя в руки, докопаться до сути, положить конец прежней неустойчивости и поверхностности. Хотя подобное толкование оставило лазейки для сомнений, ведь с таким же успехом это мог быть призыв сняться с якоря и выйти в открытое море. Есть в форме «кошки» — четыре оскалившихся зуба, четыре железные лапы, истерзанные каменистым дном, — нечто, напоминающее мне: любое решение будет сопряжено с надрывом, болью и страданием. Слабым утешением служило мне то, что речь шла не о груз-

ном, глубоководном якоре, а о юрком прибрежном якорьке; следовало не отказываться от юношеской беззаботности, а лишь слегка передохнуть, призадуматься, обозреть потемки самого себя.

– Чтобы как можно точнее изобразить этот предмет во всех ракурсах, – сказала м-ль Звида, – желательно постоянно держать его при себе, постараться сблизиться с ним. Как повашему, смогу я купить якорь у местных рыбаков?

– Давайте спросим, – отозвался я.

– А может, вы и спросите? Сама я не осмелюсь – еще начнут шептаться: с чего это вдруг горожанка так носится с какой-то рыбацкой железякой?

Я мгновенно представил, как протягиваю Звиде железную «кошку», точно букет цветов. При всей своей несообразности эта сцена была отмечена некой вопиющей жестокостью. В ней, несомненно, таился ускользающий от меня смысл; пообещав себе не торопясь поразмыслить над этим, я согласился.

– Хорошо бы получить «кошку» вместе со швартовым тросом, – уточнила Звида. – Я могу часами без усталости рисовать свернутый канат. Постарайтесь взять канат подлинней: метров десять – двенадцать.

Четверг. Вечер. Врачи разрешили мне изредка и в меру употреблять спиртные напитки. Ближе к закату я пошел отпраздновать это событие в трактир «Шведская звезда» –

пропустить стаканчик горячего рому. У стойки толпились рыбаки, таможенные досмотрщики, грузчики. Сквозь беспорядочный гул пробивался пьяный голос пожилого человека в форме тюремного надзирателя, заливавшего очередную байку:

– И вот, значит, каждую среду эта надушенная дамочка дает мне сотенную, чтобы я, значит, оставил ее наедине с заключенным. А к четвергу – по пивку вдаришь – глядь, от сотенной уже ни шиша. А кончится свидание, выходит, значит, моя дамочка, а от ее тувалетов на версту тюремным запашком разит; зато арестантик мой вертается в камеру, ровно граф какой – цветет и пахнет дамочкиными духами. А от меня – как пивом разило, так и разит. Вот, брат, какая пошла житуха пахучая.

– Что жизнь, что смерть – все едино, – вмешался его собутыльник, по всему видать, могильщик. – Ты думаешь, я чего пивко-то сосу? Да чтобы смрад упокойника заглушить. Только он, смрад этот, пивной душок из тебя и вытравит: уж я-то знаю, не одну могилу для нашего брата пьяницы сладил.

Я воспринял этот разговор как напоминание быть начеку: мир рушится и норовит затянуть меня в свой распад.

Пятница. Рыбак неожиданно насторожился:

– А на что это вам кошачий якорь?

Что за бесцеремонность! Мне бы ответить: «Для рисования», но я помнил о стыдливом нежелании м-ль Звиды рас-

крывать свои творческие замыслы людям, которые не в состоянии их оценить; а ответ я со всей прямотой: «Для мысленного созерцания», — кто бы меня здесь понял?

— Да так, нужно, — сказал я вслух. Накануне вечером мы познакомились с ним в трактире и теперь разговорились.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.